

Фоxtrot белого рыцаря · Андрей Белый в Берлине

Мина Полянская

Мина Полянская

**Фоxtrot**  
**белого рыцаря**  
*Андрей Белый в Берлине*



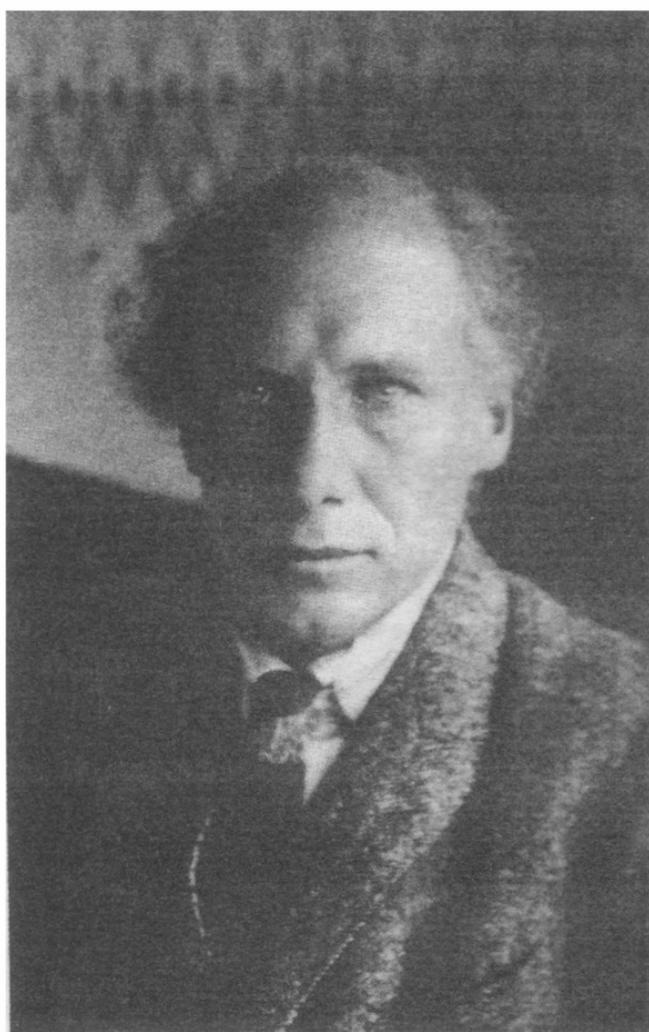
ДЕМЕТРА

Мина Полянская

Foxtrot  
белого рыцаря

Андрей Белый  
в Берлине

Дорогой Тамаре  
с прижизненной посылкой.  
мои берлинские  
замечания об Андрее Белом.  
Мина Полянская  
Берлин, 18 февраля, 2010



Мина Полянская

Foxtrot  
белого рыцаря

Андрей Белый  
в Берлине



ДЕМЕТРА  
Санкт-Петербург  
2009

ББК 83.3(2Рос = Рус)1 – 8Белый

УДК 821.161.1 Белый

П54

### **Полянская, Мина.**

Фокстрот белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине / Мина Полянская. — Санкт-Петербург: Деметра, 2009. — 192 с.

**ISBN 978-5-94459-023-7**

Книга Мины Полянской «Фокстрот белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине» повествует о крупнейшем мистике, поэте, и прозаике 20-го века Андрее Белом, создавшем произведения принципиально нового типа: ритмизированный текст, повлиявший на мировую прозу, в частности на романы Пруста, Хаксли, Джойса. Книга посвящена трагическому эпизоду в жизни Андрея Белого в пору его последнего пребывания в Берлине (1921–1923), сопровождаемого танцами в немецких забегаловках, в основном, вошедшим тогда в моду фокстротом. Автор исследует «танцевальную» ситуацию и послевоенного Берлина времен «потерянного поколения, и самого Белого — своеобразную реакцию на разрыв с женой Асей Тургеневой и с немецким антропософом Рудольфом Штейнером. В книге повествуется о писательском рекорде Белого во время двухлетнего пребывания в Берлине: шестнадцать опубликованных книг, и о берлинских встречах с Н. Берберовой, М. Цветаевой, В. Ходасевичем, А. Толстым, И. Эренбургом и др.

Использована хроника тех дней: берлинская периодика 1921–1923 годов, эмигрантские газеты, бюллетени, рекламы и журналы, повествующие о феномене русского литературного Берлина двадцатых годов.

© Издательство “Деметра”, 2009

© М.Полянская, 2009

**ISBN 978-5-94459-023-7**

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА.....	10
Часть I. МИСТИЧЕСКИЙ ВЕК.....	27
1. Феномен русского литературного Берлина.....	28
2. Андрей Незванный.....	45
3. Брюссель: посланцы Минцловой.....	62
4. На строительстве первого Гетсанума. «Вахтер Бугаев».....	81
Часть II. ФОХТРОТ БЕЛОГО РЫЦАРЯ.....	95
1. Нашествие фокстрота.....	96
2. Берлинская легенда.....	109
3. Площадь с единорогом.....	117
4. О псевдогаллюцинациях.....	136
5. Серо-бурый Берлин.....	143
6. Цветаева и Белый.....	152
7. Прощание с Берлином.....	172
8. Оставшись с портретом Штейнера.....	181



Мина Полянская — выпускница филологического факультета ленинградского пединститута им. А. И. Герцена середины 60-х, когда там преподавали такие литературные «гиганты», как легендарные В. Маранцман, Е. Эткинд и Н. Берковский, которых она считает своими учителями. Книга написана под влиянием романтических идеалов Берковского, любившего повторять слова Новалиса: «Мы живем внутри некоего колоссального романа, и это относится как к крупному, так и к мелочам».

Полянская — автор литературоведческих новелл «Классическое вино», книг «Музы города» (о Берлине), «Брак мой тайный. Марина Цветаева в Берлине» (2001), «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922» (2009), «Я — писатель незаконный». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна» (2003), «Плацкарты и контрамарки. Записки о Фридрихе Горенштейне» (2007), а также «готического» романа «Синдром Килиманджаро» (2008). С 1991 года живет в Берлине, член немецкого Пушкинского общества и международного ПЕН-клуба.



*И опять, и опять, и опять —  
Пламеня, гудят небеса ...  
И опять,  
И опять  
И опять —  
Меченосцев седых голоса.*

*Над громадой лесов, городов,  
Над провалами облачных гряд —  
Из веков  
Из веков,  
Из веков —  
Полетел меднобронный отряд.*

*Андрей Белый. И опять, и опять, и  
опять... (1911).*

*Взор сенатора невзначай упал на  
трюмо: ну и странно же трюмо от-  
разило сенатора: руки, ноги, бедра и  
грудь оказались вдруг стянуты тём-  
но-синим атласом: тот атлас во все  
стороны от себя откидывал метал-  
лический блеск: Аполлон Аполлоно-  
вич оказался в синей броне; Аполлон  
Аполлонович оказался маленьким  
рыцарьком, и из фук его потянулась  
не свечка, а какое-то световое явле-  
ние, отливающее блесками сабель-  
ного клинка.*

*Андрей Белый. Петербург.*

## Преамбула

*Кризис жизни и мира зависит от кризиса мысли: мысль действительна.\**

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) родился в Москве 14 (26) октября 1880 года в семье профессора Московского университета Николая Васильевича Бугаева. Мать, Александра Дмитриевна, урождённая Егорова, одна из первых московских красавиц. Владислав Ходасевич рассказывал, как на чествовании Тургенева, когда зачем-то понадобились первые московские красавицы, рядом с писателем посадили Екатерину Павловну Леткову (впоследствии Султанову, сотрудницу «Русского богатства») и Александру Дмитриевну Бугаеву. На известной картине К. Маковского «Боярская свадьба» сидят рядом те же две красавицы: с Александрой Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны — дружка.

Супруги несхожи были и внешне и внутренне: «гуманитарная» Александра Дмитриевна ещё ко всему одевала мальчика в девичьи платья, дабы не оказалось у сына сходства с некрасивым отцом-математиком. Разлад в семье проявлялся в скандалах, свидетелем которых неизменно являлся Боря Бугаев. Особый строй его мысли безусловно связан с постоянными родительскими конфликтами. Романы и многочисленные мемуарные произведения Андрея Белого со сложностями семейных отношений как «прикладной материал» могли бы составить не меньший интерес для психоаналитика, чем античная драма для первого исследователя детских страхов и «комплексов» Зигмунда Фрейда.

И в «Котике Летаеве», и в «Петербурге», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чуде», и в «Москве под ударом» находим в основе тот же семейный конфликт. Чем старше делался писатель, тем настойчивее обращался к детству. «К мистике, а

\* Тексты всех эпиграфов книги принадлежат Андрею Белому.

затем символизму он пришёл трудным путем примирения позитивистских тенденций с философией Владимира Соловьёва. Недаром, прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический»\*.

В доме 55 на Арбате бывала вся профессорская Москва. Приходили братья Танеевы и даже Лев Толстой. Мир детства Бори Бугаева во многом определил его прекрасное образование: он закончил знаменитую частную гимназию Льва Ивановича Поливанова (там учились Валерий Брюсов и сын Льва Толстого Лев Львович), а также естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, в 1904 – 1905 годах посещал еще историко-филологический факультет.

---

В историю русской литературы Андрей Белый вошёл как теоретик символизма, поэт и один из крупнейших прозаиков, создавших произведения принципиально нового типа: ритмизированный текст, повлиявший на мировую прозу, в частности на романы Пруста, Хаксли, Джойса. Писателя принято (модно) сейчас называть «русским Джойсом», хотя доказательств «прямых» контактов нет.

Белый ещё в первом десятилетии написал четыре уникальных по жанру литературных произведения, а именно симфонии, ориентированные на законы музыкальной композиции, а в 1913 году создал роман «Петербург», и в самом деле предвосхитивший технику Джойса в романе «Уллис». Всё то новое, что обнаружили мы в «Уллисе», окончательно опубликованном в Париже в 1922 году, находим в «Петербурге», увидевшем свет почти на десятилетие раньше: поток сознания, переосмысление античной мифологии (у Белого — мифы о Сатурне и Аполлоне, у Джойса — «Одиссея»), символизирующей вселенскую сущность бытия, изображение подсознательного распада, эдипова комплекса, взаимоотношений персонажей в семье (Николая Аполлоновича с

\* Владислав Ходасевич. Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.

отцом и матерью), кинематографичность (монтаж, основанный на сцеплении ассоциаций). Исследователи говорят о том, что Джойс воспринял Белого «окольным путём», а именно — через фильм «Броненосец Потёмкин». Выстраивается цепочка: Сергей Эйзенштейн считал Белого своим учителем, Джойс в Париже любил смотреть его фильм, заинтересованный его монтажом. Не очевидно только, дошла ли до Джойса весть о существовании русского романа «Петербург» (прочитать его по-русски и по-немецки он не мог), как не очевидно и обратное — мы не можем знать всех частных разговоров Джойса.\*

Андрей Белый является наиболее ярким представителем так называемой «второй волны» символизма с характерными для неё поисками мистических тайн бытия. Псевдоним «Белый» был в 1900 году предложен Владимиром Соловьёвым, считавшим, что белый цвет — слияние всех цветов, божественный цвет, «символ воплощения полноты бытия». Также символично имя «Андрей»: имя одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного, проповедовавшего, по преданию, в Скифии и благословившего места, где в будущем суждено было возникнуть Киеву и Новгороду.

---

Своеобразие русского писателя Андрея Белого состоит в том, что с самого начала двадцатого века он пытался организовать «авторитетное» тайное общество.

Уже осенью 1903 года двадцатитрёхлетний Белый с группой единомышленников, в основном питомцев Московского университета, чувствительных к мистическим «зорям» (Эллис, А. Петровский, С. Соловьёв, В. Владимиров, М. Сизов и др.), составили кружок «аргонатов» — «*Argwt*», следовавших символическим путем за мифическим кораблем «Арго», искавшим «Золотое руно». В 1904 году Белый посвятил аргонатам, их предчувствиям грядущей «зари»

\* Так, например, Набоков, почитавший Джойса, знал о романе «Петербург», нашумевшем при нём в эмигрантском Берлине, но промолчал о нём.

поэтический сборник «Золото в лазури», где в стихотворении «Золотое руно» взывал:

Внимайте, внимайте...  
Довольно страданий!  
Броню надевайте  
из солнечной ткани!

Зовёт за собою  
старик аргонавт,  
взывает  
Трубой  
Золотою:

«За солнцем, за солнцем, свободу любя,  
Умчимся в эфир  
Голубой!...»

В последующие годы Белый отстаивал элитарно-религиозное понимание искусства, призвание поэта как пророка, визионера, входящего в связь с запредельным миром.

Белый утверждал, что накануне Первой мировой войны в тихой русской деревне слышал гул и грохот будущих войн. Эту версию подтверждает как свидетель первая жена Белого Ася Тургенева.

Как выяснилось, «этот юный прелестный век», включая первое и второе десятилетие, отличился поисками раскрепощения личности, приводившими к самым неожиданным результатам. Примечательно, что многие русские литераторы буквальным образом разыскивали корни старых (средневековых) розенкрейцеров. «И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, — вспоминал Белый, — чтению эзотерической литературы, мечтам об «ордене», встречам с Минцловой, приходящей к нам со словами о братстве Розы и Креста. И с обещанием быть посредницей между тесным кружком друзей и «учителями»\*.

\* Андрей Белый. Почему я стал символистом... (Андрей Белый. Символизм как понимание. М., 1994).

Многочисленные тайные кружки, создаваемые Андреем Белым, в основном с поэтом-переводчиком, также питомцем гимназии Поливанова (внебрачным сыном Поливанова) и Московского университета, уникальным мистиком Эллисом (Львом Львовичем Кобылинским) оказывались нежизнеспособными, быстро разрушались, и оба — Белый и Эллис — часто сетовали по поводу невозможности создать настоящее ритуальное закрытое общество в духе европейского средневековья с полагающимися мистериями и прочим. Примером «негерметичности» тайного общества и является упомянутое выше общество «аргонавтов» — *«Argonaut»*. После смерти отца Белого Н. В. Бугаева кружковцы по воскресеньям собирались на Арбате, причём приходили не только члены кружка, а стекалась чуть ли не вся литературная и художественная Москва. «Люди, собиравшиеся на воскресеньях моих, — вспоминал Андрей Белый, — какой-то ручей: рой за роем проходили, точно по коридору, сквозь нашу квартиру, подняв в ней сквозняк впечатлений: много фамилий и лиц я забыл; и не помню, когда кто явился». Среди гостей, упоминаемых Белым, — философ Флоренский, художники Борисов-Мусатов и Шестеркин, поэты Брюсов, Волошин, Бальмонт, Бальтрушайтис. Приезжали гости из Петербурга: Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Вячеслав Иванов. Разумеется, такой «сквозняк» начисто лишил собрание очарования таинственности.

Российские мистические «ордена» носили самодеятельный характер, не обладали связями с подобными западными центрами. Если в восемнадцатом столетии русские масонские ложи (впоследствии запрещённые Александром I) открывались с разрешения европейских лож, следивших за точным соблюдением уставов и орденским делопроизводством, то в первые два десятилетия двадцатого века мистические общества были автономны и в контакты с западными обществами не вступали. Возможно отсюда неумение правильно организовать дело в духе старых традиций и соответственно оформить дипломы, акты, переписку, обустроить ритуальное пространство помещения, создать иерархию, клятвы, пароли, необходимую таинственность и прочее.

Бердяев полагал, что характер россиянина традиционно не получил рыцарской огранки. «Очень характерно, — писал он, — что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности стихии земли, в лоне матери. Рыцарство куёт чувство личного достоинства и чести, создаёт закал личности».

В поэме «Чародей», посвященной Эллису, Марина Цветаева говорит о том, кем её первый возлюбленный сам себя считал:

Из чёрной глубины рояля  
Пылают гроздья алых роз  
— «Я рыцарь Розы и Грааля,  
Со мной Христос,

Но шёл за мной по всем дорогам  
Тот, кто присутствует и здесь.  
Я между Дьяволом и Богом  
Разорван весь».

Очевидно, что Эллис видел себя (скорее всего, выдавая желаемое за действительное), розенкрейцером. Немало времени и энергии — и это накануне крушения империи — ушло у московских (и петербургских) литераторов на поиски старого общества (того самого-самого!) розенкрейцеров и рыцарского пути активного служения в борьбе со злом и невежеством.

---

Именно Андрей Белый *не являл* собою жертву превратностей судьбы, её курьёзов: он сам активно творил драматургию биографии, драму судьбы. В 1909 году он знакомится с внучатой племянницей Ивана Сергеевича Тургенева Анной Алексеевной Тургеневой (Асей), натурой абсолютно «эзотерической» и, соответственно, мистической, становится членом издательства «Мусaget», также мистического, совершает с Асей заграничное путешествие:

Сицилия — Тунис — Египет — Палестина. Он возвращается в Россию (задуман роман «Петербург», завершит в 1913 году за пределами России — Белый писал быстро), затем, исполненный предчувствиями надвигающихся судьбоносных событий, отправляется с Асей в Брюссель. В Брюсселе и в самом деле совершатся ожидаемые сказочные чудеса, которые изложу со всей возможной откровенностью (разумеется, из того, что известно мне), несмотря на их неправдоподобие, в главе «Брюссель: посланцы Минцловой».

Путешествие в Брюссель оказалось мостом, преддверием встречи с немецким антропософом Рудольфом Штейнером, которая вскоре и последует в Кёльне. Основная мысль Штейнера — идея нравственного личного совершенствования, выявление в себе «вышей», «божественной» сущности, для чего необходимо единение людей, установление мирового внесловного братства. Прообразом единения всего человечества должно было стать Антропософское общество в Дорнахе, в которое Белый вступил со своей женой Асей Тургеневой.

С момента встречи с Рудольфом Штейнером резко меняется личная и писательская судьба Андрея Белого. Ася Тургенева вскоре откажется от семейной жизни — во имя антропософии. Белый вспоминал о предрасположенности своей жены к мистике («Воспоминания», т. 3, ч. 2-я «Московский Египет»), в частности о пребывании его с Асей на подмосковной даче в Расторгуеве в 1913 году: «Здесь Ася вновь впала в оцепенение, вгрызаясь в книгу Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана». Ася навсегда останется в швейцарской деревне Дорнах, до своей смерти в 1966 году (пережила Белого на 32 года).

В Дорнахе возникнет для Белого, известного русского писателя и поэта с неопровержимыми литературными заслугами и авторитетом, необходимость борьбы за утверждение своей писательской личности, ибо он четыре года в качестве вахтёра и резчика по дереву находился на строительстве Гетеанума в многотысячной толпе антропософов, не имеющих отношения к литературе, и, тем более, к профессиональным литературным делам. Вернуться в

писательскую родную среду после стольких лет изоляции будет трудно. К тому же началась война, и уже неотвратимо назревала революция со всеми вытекающими отсюда последствиями для писателя непролетарского происхождения, да ещё и антропософа.

Исключение составят только два эмигрантских берлинских года (1921 — 1923), когда Белый будет издаваться интенсивно и на какое-то время вернёт себе писательское имя: из «вахтёра Бугаева» (так его называли в Дорнахе) превратится вновь в «Андрея Белого».

Между тем влияние антропософского учения на творчество Белого огромно. Достаточно только вспомнить великолепную главу в романе «Петербург» «Второе пространство сенатора», где сон сенатора Аблеухова — настоящий шедевр «сновиденческой» темы в мировой литературе. Если Стивенсон и Кольридж получали во сне сюжеты, то в случае с Белым Рудольф Штейнер и его лекции принесли писателю сюжет сна. Астральный мир приобрёл во сне у Белого почти материальную ощутимость. Подобными «антропософскими» сокровищами — настоящими жемчужинами — пронизан роман «Петербург».

---

Всё сказанное выше обладает непосредственным отношением к трагическому эпизоду в жизни Белого в пору его последнего пребывания в Берлине, сопровождаемого танцами в немецких забегаловках низшего пошиба, в основном вошедшим тогда в моду фокстротом. «Недостойное» поведение известного писателя — следствие психического срыва, ставшего притчей во языцех в среде буквально шокированных берлинских литераторов-эмигрантов. Поскольку психический срыв произошел в Берлине, то для Белого сам город и оказался виновным в его злоключениях. «И вы начинаете вопреки всем протестам сознания и мировым мыслям, живущим в вас, — уверяет Белый, — стаскиваться организацией и порядком в то тёмное дно». Это он, сумасшедший Берлин, вопреки протестам сознания, закружил писателя в своём вихре, опустил на дно. Да так закружил,

да так опустил, что осталась легенда, а легенда, как известно, неразрушима.

Берлину писатель в 1924 году посвятил книгу очерков «Одна из обитателей царства теней», где «царство теней» и есть Берлин: «... меня обступали явления парализованного сознания, суженого и падающего в объятия животной природы; тогда весь Берлин выступал предо мною *“обителью царства призраков”*». Или: «О, ужаснейший, серый и гаснущий город». И ещё: «Я пройду мимо личностей\* и постараюсь провести перед вами свой «миф», или сказ о Берлине: сожму в фигуральные образы эту обитель тяжелого *“царства теней”*». Перед нами возник знакомый «теневого» образ из романа «Петербург»: «Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: превращают в тени прохожих». Белый проговаривается (разумеется, умышленно): создание писателем *своего* мифа о Берлине — свидетельство пристрастного отношения к городу, ставшего и декорацией, и сценой, и свидетелем его окончательного разрыва с Асей Тургеневой и Рудольфом Штейнером. Писатель, правда, тут же и спохватывается, настойчиво обороняясь от упреков в необъективности и односторонности: «Словом, слышу уже: почему автор нам говорит не о Шпенглере, не о новых поэтах, не об огромнейших достижениях немецкой науки.

Но, во-первых: цель этого очерка нарисовать только внешний эскиз жизни города, без углублений в анализ произведений искусства, науки; и, во-вторых, всё, что создано в области чисто-немецкой культуры за годы 1918 — 1923, не обрисовывает особенно разительных новых контуров».

\* Под личностями подразумеваются литераторы — эмигранты, оставшиеся в Берлине. «Эмигрантщина» — так назвал их Белый. Он все же по личностям прошелся: «Мне трудно касаться и умственного кругозора тех множества русских, печальнейше погруженных во мрак буро-серого города, печально месящих бурду изжитого, умершего прошлого, за пять лет не создавших ни в сфере искусства, ни в сфере искания мысли ничего оригинального, утверждающих буро-серое политиканство, зачитывающихся страницами буро-серых романов Краснова, провозглашающих поэзию Саши Чёрного национальной поэзией».

Впрочем, для урбаниста Белого город всегда являлся воплощенным кошмаром. Сама по себе «городская» тема (не говоря уже о непосредственно «петербургской» теме, обладающей давними литературными традициями) стала особенно актуальной в России после отмены крепостного права и проведения ряда буржуазных реформ, когда город становится капиталистическим городом. Возникает идея, достаточно рискованная, несовместимости культуры и цивилизации. И в поэзии Белого, и в симфониях, и в романе «Петербург» город со своей суталоккой и суетой, многоцветием реклам, желтым безжизненным цветом фонарей, производит подавляющее действие: «Посмотрите вверх в туманную ночь, и вы подумаете, что в небе горят небывалые звезды (...) Город, извративший землю, создал то, чего нет. Но он же поработил и человека: превратил горожанина в тень. Но тень не подозревала, что она призрачна (...) Город убивает землю, перековывает её в хаотический кошмар».

Между тем, как уже отмечалось, эмигрантский Берлин стал для Белого не только городом интенсивного творчества, но и настоящего писательского успеха, о котором многие его литературные коллеги могли бы только мечтать. Фактически ни одно берлинское издательство не отказало Белому в публикации. Наоборот: почитали за честь издать любое его произведение. Просматривая жизнеописания о Белом, я не заметила *этого необходимого берлинского акцента*, тогда как на самом деле ни до, ни после Берлина писатель так много не издавался. Белый приехал в Берлин 18 ноября 1921 года, а покинул его 23 октября 1923 года. Итог двухлетнего пребывания: шестнадцать опубликованных произведений. Среди них такие крупные и объемные книги, как романы «Петербург», «Котик Летаев», «Серебряный голубь», итоговая преогромная книга «Стихи», объединившая почти всё его поэгическое творчество (о других изданиях — в первой главе книги). Можно заявить о некоем писательском рекорде, поставленном этим уникальным автором, у которого не было проблем с отсутствием сюжетов, идей, тематики, фантазии и, разумеется, тем, что принято называть творческим вдохновением.

То, что Белый *как будто* бы не обратил внимания на свой явный берлинский успех — проблема его собственно видения самого себя в литературном процессе. Хотя подозреваю, что всё же — зафиксировал свою откровенную и лестную популярность среди берлинских литераторов и издателей, так же как с глубокой болью зафиксировал откровенное пренебрежение к его высокой писательской чести со стороны антропософов в Дорнахе в 1912—1916 годах. Этой болью пронизаны страницы его очерка 1928 года. (Белый написал очерк «Почему я стал символистом...» 26 марта 1928 года. Впервые опубликован в России спустя 66 лет в сборнике: Белый. А. Символизм как миропонимание. М., 1994)

---

Читателю нетрудно заметить, что в книге об Андрее Белом много внимания (глава «Марина Цветаева и Андрей Белый») уделено Марине Цветаевой. 15 мая 1922 года, в свой первый берлинский вечер, Марина Цветаева встретила в кафе «Прагердиле», что располагалось на Прагерплатц, Андрея Белого, которому двенадцать лет спустя в Париже посвятит одно из самых блестящих своих прозаических произведений — эссе «Пленный дух». Поводом к написанию «Пленного духа» послужило известие о кончине Андрея Белого в Москве 8 января 1934 года.

Встречи Цветаевой и Белого — важные литературные события: два поэта, видные представители русской литературы, как оказалось, родственные души, в России лично знакомы не были. Эмигрантский Берлин неожиданным образом объединил их. В письме от 20 июля 1923 года Цветаева напишет А. Бахраху: «Б. Н. нежно люблю... Он одинокое существо. В быту он ещё беспомощнее меня, совсем безумен. Когда я с ним, я чувствую *себя* — собакой, а *его* — слепцом! (...) Лучшие мои воспоминания в Берлине о нём».

Берлинские встречи с писателем, поэтом и антропософом Андреем Белым, прибывшим в немецкую столицу как будто бы и не в качестве эмигранта, а для *важных своих антропософских дел*, вовсе не означают заведомую принадлежность Цветаевой к антропософии (так же, как и посещение

Цветаевой 30 апреля 1923 года в Праге лекции Рудольфа Штейнера). Цветаева *никогда никому* не принадлежала — ни политическим организациям, ни литературным, ни философским течениям. Цитирую типично «цветаевское» письмо, недвусмысленно определяющее её независимую до демонстративности позицию в земной жизни: «В священнике я всегда вижу превышение прав: кто тебя поставил надо мною? Между Богом и мною, *Тем* и мною, *Всем* и мною. Он — посредник, а я — непосредственна». Она и в самом деле была — сама по себе, в отличие от Андрея Белого, принадлежавшего символизму как литературному течению, а затем всецело отдавшему себя служению антропософии.

Попытка Татьяны Кузьминой в книге «Цветаева и Штейнер» сделать Цветаеву «штейнеристкой» без единого конкретного факта, худо-бедно объединяющего незнакомых друг другу людей, и не исследовавшей при этом единственного непосредственно соединяющего факта — посещения Цветаевой лекции Штейнера в Праге (то был — козырь!), непонятна. Да и то сказать, письма Цветаевой об этом посещении не подкрепляют заведомую идею, а наоборот, «изобличают» её отношение к Штейнеру, ибо нет в них благоговения — одно лишь любопытство. Из письма Цветаевой художнице Людмиле Чириковой, дочери писателя Е. Н. Чирикова, 30 апреля (день посещения лекции): «Нынче еду в Прагу на Штейнера. (...) Хочу, если не услышать, то узреть. По более юным снимкам у него лицо Бодлэра, т. е. Дьявола». Из письма Цветаевой Рильке 12 мая 1926 года: «Рильке легко понять», — с гордостью говорят посвященные: *антропософы и другие мистические сектанты*» (курсив мой — М. П.).

Прямолинейное сравнение Штейнера с Цветаевой (поэта и философа-мистика) подобно сопоставлению деятельности, допустим, механика и врача, что приводит к неизбежным столкновениям несовместимых аргументов, смешению понятий и терминов. Штейнеру — философу «пристроили» неизвестную ему женщину-поэта, да ещё с фотографиями, помещёнными так, что оба чуть ли не любовно глядят друг на друга.

Цветаева, разумеется, пыталась разобраться в философских идеях своего времени и проявляла огромный интерес не только к антропософии, но и к любому мистическому течению, ко всякой таинственности, сказкам, мифам, легендам, которые составляли фундамент её творчества. Однако, подчеркиваю, в отличие от Андрея Белого, она осталась самостоятельной — «не примкнувшей», «не входившей».

---

Здесь и находится трудный пункт литератора, пишущего об Андрее Белом, и, тем более, ограниченного рамками литературной топографии, и, как сказал бы Андрей Белый, пространством с «локализацией» в общей «математической точке» Берлина. Но труднее всего установить необходимые границы между литературой и мистическим учением, когда речь идет о писателе-мистике. Важно не захлебнуться в его соблазнительной мистике, дабы не унесло таинственным астральным течением, дабы остаться и в атмосфере литературных традиций, и властелином своей книги.

Попытаюсь всё же последовать за Андреем Белым — писателем невероятной энергии и страсти, который нёс с собой, по выражению Ходасевича, «способность преображения... принёс и унёс что-то, чего никто другой не имел».

Берлинскому периоду, длившемуся два года, вплоть до возвращения в Россию, посвящена моя книга «Foxtrot Белого рыцаря».

---

В заключении приведу отрывок из предисловия Фридриха Горенштейна к моей книге о Марине Цветаевой в Берлине, где писатель, проживший в Берлине 22 года, рассказывает о берлинских мемориальных досках\*:

*Берлин увешан мемориальными досками. Особенно их много в моём районе Вильмерсдорф. Хотя и в других районах их, наверное, немало. По некоторым улицам идёшь как по мемориальному*

\* Мина Полянская. Брак мой тайный. Марина Цветаева в Берлине. М., 2002.

кладбищу. Одни фамилии на досках узнаваемы, а большинство фамилий немецких писателей, художников, композиторов мне неизвестны.

Обилие досок вовсе не означает, что они почитаемы общественностью. На Курфюрстендаммe доска памяти классика немецкой прозы Музиля почернела, слова с трудом можно прочитать, но я и не замечал, чтобы кто-либо останавливался и читал.

Неподалеку от меня на улице Виттельсбахштрассе на доме 5 установлена доска в память о проживании в этом доме Э. М. Ремарка. Указано, что в этом доме он в 1929 году написал роман «На западном фронте без перемен», но в какой именно квартире — никто не знает.

Рядом с моим домом на Зэкцишештрассе стоит современное здание, на месте которого в 20-х годах был другой дом, разрушенный войной, где в 1922 году жила семья Набоковых — доски нет.

Доска Набокову установлена на доме, где писатель жил последние годы до отъезда во Францию в 1937 году, на Несторштрассе, но и её установили не городские власти, а хозяин ресторана-галереи, узнав, что выше этажом жил автор «Лолиты», которую он не читал, однако смотрел американский фильм.

Памятную доску Марине Цветаевой также установили не городские власти, а студенты-слависты Берлинского университета, собравшие на эту доску деньги — в складчину. О том, кстати, и облик доски свидетельствует, также как и у Набокова. Это не тяжёлая, солидная мемориальная доска, а латунная тонкая дощечка, чуть побольше тех, которые вывешивают на дверях квартир с именами проживающих жильцов: «Профессор такой-то», «Зубной врач такой-то». На такие таблички напращивается надпись не «жил» или «жила», а «живёт» или «проживает» (...).

Вероятно, автор относит свою книгу к жанру литературной топографии, но я бы не побоялся определить эту книгу как литературный путеводитель — нужный и полезный жанр. Тем литературоведам, для которых жанр литературного путеводителя менее уважаем, чем другие, напоминаю, что Стендаль написал «Прогулки по Риму» и «Записки туриста» — не что иное, как путеводители по местам, связанным с вершинами европейской культуры. Путеводителем является и книга Виктора

*Шкловского о Берлине «Зоо, Письма не о любви, или Третья Элоиза», а Набоков назвал один из своих берлинских рассказов «Путеводитель по Берлину».*

Я привела этот отрывок писателя потому, что именно эти его размышления кажутся мне уместными и для книги «Foxtrot белого рыцаря». В самом деле, положение с «русскими» досками в Берлине нельзя назвать благополучным. И у самого Горенштейна\*, умершего в марте 2002 года, разумеется, нет на фасаде дома, где он жил с 1982 года (ровно 20 лет) на Зэксишештрассе, 73, в самом «эпицентре русского Берлина» (чем он гордился), даже и «латунной тонкой дощечки».

Однако льщу себя надеждой, что доска объявится. Объявилась же чудным образом дважды доска на фасаде дома 9 на Trautenaustrasse, где жила Цветаева. Впервые она была открыта 6 ноября 1996 года.

Затем, когда бывший пансион Элизабет Шмидт ремонтировался (реставрировался) несколько лет, она, прямо скажем, исчезла. В начале 2008 года, наконец, возникла доска — точно такая же, вернее, очень напоминающая первую, как две капли воды, но с большим блеском, я бы даже сказала, гляncем.

Доску установил заново один из членов партии CDU, поселившийся в этом доме, Фридберт Флюгер\*\*. На новом торжестве открытия доски в середине июля 2008 года Флюгер забыл сообщить, что доска впервые была установлена

\* О Горенштейне я написала книгу, изданную дважды: «Я — писатель незаконный...». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна». Нью-Йорк, 2003. «Плац-карты и контрамарки. Записки о Фридрихе Горенштейне». Санкт-Петербург, 2006.

На немецком языке опубликовано одиннадцать книг Горенштейна.

\*\* На открытии первой мемориальной доски 6 ноября 1996 года присутствовало только трое выходцев из России: писатель Фридрих Горенштейн и создатели берлинского культурно-политического журнала «Зеркало Загадок» Мина Полянская и Борис Антипов.

литературоведом Сильке Вабер совместно со студентами двух Берлинских университетов (Свободного университета Берлина и университета имени Гумбольдта).

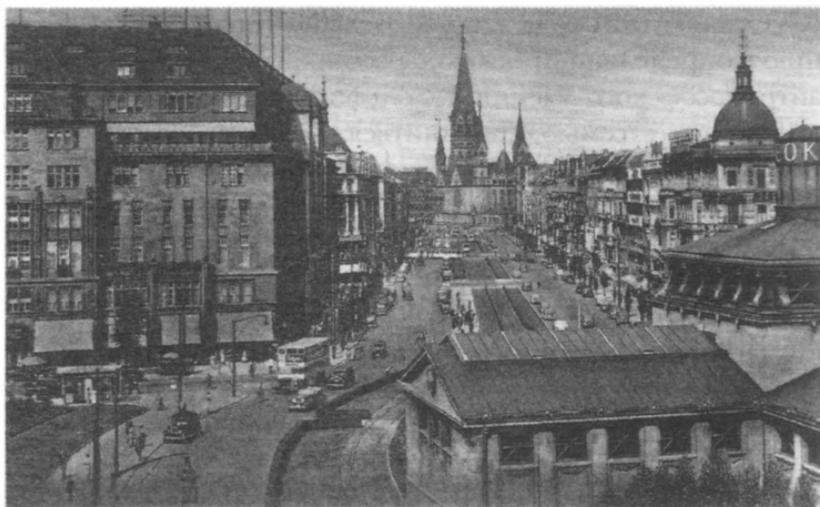
Все же льщу себя *надеждой*, что эта книга о двухлетнем пребывании Белого в Берлине (и, по сути дела, его последнем выезде за границу) каким-нибудь образом, пусть даже и косвенным, будет способствовать появлению на фасаде дома 9 на Виктория-Луизаплац (Viktoria-Luise-Platz) мемориальной доски, посвященной сразу троим выдающимся литераторам, а именно: Андрею Белому, Владиславу Ходасевичу и Нине Берберовой.

*Мина Полянская  
Берлин, сентябрь 2008 года.*



## Часть I

# Мистический век



*Моё право проживания в Берлине  
действительно только на короткое  
время... дальше не знаю, где буду:*

- Берлин*
- Москва*
- Земля*
- Луна*

*...*

# 1

## Феномен русского литературного Берлина

*«Некто» не бежал из Советской России; за границей у «некто» были неотложные, жизненные дела; «Некто» с трудом выбрался из России...*

Осенью 1921 года Андрей Белый отправился в Германию с определенной целью: возобновить контакт с главой антропософского учения Рудольфом Штейнером, а также восстановить семью, соединиться, наконец, со своей женой Асей Тургеневой, с которой пять лет назад расстался в швейцарской деревне Дорнах, где принимал участие в строительстве задуманного Штейнером первого Гетеанума, «Иоаннова здания», и где вместе с ним трудились представители девятнадцати стран.

Писатель за эти пять лет уже отведал «огневой стихии» военного коммунизма: в нищете, холоде и болезнях, жил в квартире знакомых, топил печурку своими рукописями, стоял в очередях. В то же время, следуя учению Рудольфа Штейнера, читал курсы лекций «Культура мысли», «Проблема ритма» и «Антропософия как путь самосознания» в созданной им в Петрограде «Вольфиле» (Вольная философская ассоциация). Белый, будучи председателем и членом совета ассоциации, за три года (1918–1921) провел 300 публичных собраний и справедливо полагал, что обладает для своего Учителя новым, неизвестным до сих пор опытом духовного усовершенствования человека в условиях апокалиптической России.

Кроме того, Белый работал над романом «Преступление Николая Летаева» и над книгами «Лев Толстой и культура» и «Кризис сознания».

Всё это время в надежде встретиться с женой и Штейнером он стремился уехать в Германию, но долго не мог получить разрешение на выезд. Наконец большевики, по

выражению Ходасевича, «смутились» после смерти Блока и расстрела Гумилёва, и выдали ему заграничный паспорт.

Из России Белый уезжал для «неотложных дел» без особой радости, в неясной тоске и недобрых предчувствиях, поскольку не был уверен, что антропософы, настроенные настроенно к тем, кто приезжает из Советской России, встретят его с доверием и захотят снова принять в свой круг, хотя он по-прежнему состоял членом Антропософского общества. К тому же изменилась не только Россия: в недрах Антропософского общества произошли изменения, и нынешний Белый мог каким-нибудь образом не соответствовать, а поскольку трения начались еще раньше (о чем будет рассказано ниже), были все основания заведомо испытывать тревогу.

Ещё не зная точно, вернётся ли, или останется навсегда в горах Швейцарии, Белый предварил свой отъезд прощальным стихотворением «Россия», посвятив его матери Александра Блока детской писательнице Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух, сокрушавшейся отъездом Белого из большевистской России и осиротелости России без него. Поэт в приведенном ниже отрывке стихотворения применил антропософские и апокалипсические символы о развитии человечества в семи планетарных превращениях от Сатурна до Вулкана. Сатурн, согласно тайноведению, находится в прошлом этого развития так же, как и Солнце и Луна; и, надо полагать, призывы автора к бурному кипению земного ядра в приведенных ниже стихах — вовсе не революционные призывы, а призывы к высшей ступени познания, «сверхдуховного» (Штейнер) сознания, которое осуществится *после Земли* — очень нескоро — на планете «Вулкан». («Но теперь, — говорил Белый, — в истории Земли пробил час, когда мы возвращаемся. И линия прохождения жизни сквозь все миры круто меняется вверх»):

Кипи, роковая стихия  
В волнах громового огня!..  
Россия, Россия, Россия, —  
Безумствуй, сжигая меня.

.....

Пусть в небе и кольца Сатурна,  
И млечных путей серебро!  
Кипи фосфорически бурно,  
Земли огневое ядро.

И ты, огневая стихия,  
Безумствуй, сжигая меня, —  
Россия, Россия, Россия,  
Мессия грядущего дня!

---

Ещё две мучительных недели Белый находился в литовском Ковно (Каунасе) в ожидании немецкой визы и 19 ноября прибыл в Берлин.

По свидетельству сына Леонида Андреева, Вадима Андреева, Белый поселился на Прагерплатц в одном из многочисленных запущенных пансионатов «средней руки» в огромном шестиэтажном доме, похожем на каменный сундук. Однако, по всей вероятности, здесь у Андреева произошла ошибка памяти, несмотря на такие подробности в описании дома, поскольку некоторые мемуаристы называют другой адрес: Пассауерштрассе, 3, пансион д' Альберт (Pension d' Albert; Passauer Strasse 3). Видимо, ошибка вышла потому, что большинство эмигрантов, как правило, впервые селились в Прагерпансионе на Прагерплатц: Алексей Толстой, Цветаева, Эренбург и др.

Пансион д' Альберт находился напротив бокового фасада знаменитого крупнейшего универсама Европы Ка-Де-Ве (Kaufhaus des Westens), построенного в начале века и сохранившегося до наших дней. Дом вошел в историю легендарного берлинского кризиса 1923 года. В одной из витрин Ка-Де-Ве висело табло, соединенное с биржей. Показания падения доллара менялись каждый час. Богатые берлинцы, находившиеся здесь же, в толпе у витрины, в течение нескольких часов становились нищими. Алексей Толстой случайно стал свидетелем такой паники и под впечатлением этих событий написал рассказ «Чёрная пятница»: «На верху широкой лестницы кричали несколько



**Боковой и передний фасады универсама Ка-Де-Ве, напротив которого на Пассауерштрассе, 3 (дом не сохранился) жил в 1921 году А. Белый. Фото 2008 Б. Антипова.**



сотен человек, лезли к чёрным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на чёрном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором».

Андрей Белый, называя себя «Некто», подтверждает своё заселение в доме на «Пассауерштрассе», описывая с красочной экспрессией и улицу, и Ka-De-We:

«Некто» поселился на Пассауерштрассе, почти на углу Виттенбергплатц, против знаменитого Ka-De-We (Kaufhaus des Westens), в витринах которого брызжут градации нежных шелков, располагаемых руками художников-декораторов (то градации переходят от голубого к лимонному, то градации переходят от ярко-оранжевого к смутно-лиловому), где жеманные восковые красавицы демонстрируют свои туалеты; вертящиеся двери блестящего Ka-De-We пропускают с утра и до вечера толпы франтих и изысканных франтов, усерднейше развозимых подъёмником во все четыре огромных этажа; элегантные приказчицы и приказчики рассыпают перед ними предметы; не сразу заметите вы, что среди всех здесь собравшихся наций — поляков, чехословаков, китайцев, японцев и русских — отсутствует одна только нация; немецкая нация; эта последняя предпочитает далекие и дешевые магазины, обставившие Александерплац и Штеттинер Банхоф; «Кадеве» — не по карману для немцев; и даже потом открывается: не по карману Шарлоттенград; он для русских по преимуществу».\*

Писатель вводит нас в ситуацию послевоенной Германии, с которой «Антанта» (выплачивавшая на первых порах пособие русским эмигрантам) обошлась жестоко, непрерывно требуя выплаты репараций. Роман Гуль в книге «Я увёз с собой Россию» убедительно доказывал, что этот факт (требование Ллойда Джорджа, чтобы Германия выплатила всё до копейки) способствовал появлению отрядов штурмовиков, терроризирующих население, и, в конечном итоге, к приходу к власти нацистов.

\* Андрей Белый. Одна из обитателей царства теней. Л., 1924.

Английский исследователь Р. С. Уильямс утверждал, что в 1922 году в Берлине находилось около ста тысяч русских. Некоторые историки полагают, что к 1923 году число беженцев составляло около 300 тысяч. Эмигранты, туристы с советскими паспортами, бывшие военнопленные, остатки различных белых освободительных корпусов — все эти люди поначалу оказывались иногда в одних и тех же пансионах, и в одних кафе.

В этой атмосфере относительной политической свободы и интеллектуального возбуждения формировались различные партии, от правоконсервативных до леволиберальных, и возникали всевозможные сообщества. Например, в газете «Накануне» за 3 июня 1922 года под заголовком «Русские учреждения в Берлине» находим такие колоритные названия: «Союз Русских лётчиков в Германии», «Союз Российских Студентов Германии», «Еврейский Студенческий союз», «Общество русских инженеров в Германии», «Союз колонистов Чёрного моря» и так далее.

Русский «Серебряный век» также переселился в Берлин. Белый рассказывает, как прогуливаясь по центральной улице западного Берлина Тауэнцинштрассе, составляющей единую магистраль с Курфюрстендаммом, он то и дело встречает русских литераторов:

«Там улица упирается в шпиц Адмиралтейства, — нет, виноват: в шпиц Gedächtniss-Kirche, мимо которой свершают прогулки, встречаясь ежедневно — слева направо: философ Бердяев; и справа налево: Борис Константинович Зайцев; мне помнится, — спросишь бывало: А где Яковенко, философ? — «В Италии он». А на другой день здесь именно, около Gedächtniss-Kirche наткнёшься на — Яковенко: «Как, вы? А говорят вы в Италии»... — «Как видите, — здесь»... «Где писательница Петровская? — «В Риме»... И — нет: вот она; оказывается у Gedächtniss-Kirche; здесь пробегают: Пильняк, Пастернак, Маяковский. — «Да нет же, — в России они!» Но позвольте: на Тауэнцинштрассе я видывал Маяковского. Шпиц замечательной церкви — скрещение времён и пространств: допотопное прошлое здесь перекрещено с

наступающим будущим; и Москва переименована с Прагой, с Парижем, с Софией. Шпиц церкви той — пункт, от которой разбегаются радиусы расселения русских в Берлине в окружности шарлоттенградской действительности. Один радиус — Курфюрстендамм; другой радиус — Тауэнцинштрассе; третий радиус Кантштрассе; четвёртый радиус — и так далее».

Владислав Ходасевич в 1923 году в стихотворении «Всё каменное» назвал Берлин, столь мрачно описанный им с его густой тишиной, стиснутой чёрным каменным многоэтажьем, «мачехой российских городов»:

Всё каменное. В каменный пролёт  
Уходит ночь. В подъездах у ворот —

Как изваянья — слипшиеся пары.  
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов.  
Ходи по камню до пяти часов,

Жди: резкий ветер дунет в окарино  
По скважинам громоздкого Берлина —

И грубый день взойдёт из-за домов  
Над мачехой российских городов.

Нина Берберова приехала в Берлин с Владиславом Ходасевичем 30 июня 1922 года (расстались они окончательно в Париже в 1933 году). Они поселились в берлинском пансионе Крампе на Виктория-Луизаплац, 9, оказавшись соседями Андрея Белого: именно там он поселится в середине лета 1922 года, тогда и будет приходить к Ходасевичу ежедневно, рассказывая непрерывно о своём глубоком кризисе. В автобиографическом романе «Курсив мой»<sup>\*</sup> Берберова пишет о неприятии эмигрантами неуютного чужого города, по которому бродят они по ночам — отверженные, но которых, однако, никто не изгоняет — город как будто

\* Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. М., 1996.



**Владислав Ходасевич и Нина Берберова, Париж 30-е годы.**



**Ревека (Вера) Вишняк, Абрам Вишняк и Андрей Белый.**



**Илья Эренбург в Берлине двадцатых годов.**

позволяет им существовать здесь в полной безопасности. Бердяев отмечал, что немцы отличались большей лояльностью к выходцам из России, чем французы.

---

Газета «Руль», в которой под псевдонимом В.Сирин регулярно печатался молодой Владимир Набоков, опубликовала в 1921 году его стихотворение «Беженцы». (Набоков (вначале поэт) взял себе псевдоним «Сирин», чтобы не было путаницы с публикующимся тогда отцом. В. Сирин — псевдоним в течение пятнадцати лет жизни в Берлине. В довоенном Париже Набокова называли «Берлинец Сирин»).

В стихотворении Сирина отразилось всё отчаяние «русского бега», по меткому выражению Булгакова, великого трагического русского Exodus с транзитом в Берлине, о котором нынче принято так много говорить:

Я объездил, о Боже, твой мир,  
оглядел, облизал, — он, положим,  
горьковат... Помню пыльный Каир:  
там сапожки я чистил прохожим...  
Также помню и бойкий Бостон,  
где плясал на кабацких подмостках...  
Скучно, Господи! Вижу я сон,  
белый сон о каких-то берёзках...  
Ах, когда-нибудь райскую весть  
я примечу в газете раскрытой,  
и рванусь и без шапки, как есть,  
возвращусь я в мой город забытый!  
Но, увы, приглянувшись к нему,  
не узнаю... и скорчусь от боли;  
даже вывесок я не пойму:  
по-болгарски написано, что ли...  
Поброжу по садам, площадям, —  
большеглазый, в поношенном фраке...  
«Извините, какой это храм?»  
И мне встречный ответит: «Исакий».  
И друзьям он расскажет потом:

«Иностранец пристал; всё дивился...»  
Буду новое чують во всём  
И томиться, как вчуже томился...\*

После октябрьского переворота Набоковы, как и многие будущие эмигранты, оказались в Крыму, и там Владимир Дмитриевич в 1919 году ещё успел побывать на посту министра юстиции Крымского Краевого правительства. Набоковы покинули Крым, когда большевики были уже в опасной близости. Когда они отплывали на греческом пароходе «Надежда», уже был захвачен порт. Слышны были выстрелы, и эти звуки стали для Набокова последними звуками России.

Семья добралась через Турцию и Грецию до Лондона, а затем переехала в Берлин. На долю Набоковых выпали все трудности этого исхода. Белый находился в Берлине, когда 28 марта 1922 года в здании берлинской филармонии на Бернбюргерштрассе, 22/23 во время кадетского собрания выстрелом в сердце был убит Владимир Дмитриевич Набоков, один из основателей партии «Кадетов», член «Союза Освобождения», бывший депутат Учредительного собрания.

Этот террористический акт получил тогда в относительно «мирной» Европе огромный резонанс. В некрологе Набокову, опубликованном в «Накануне» (7, 22), Алексей Толстой назвал Набокова рыцарем. «Я его вижу: рослый, красивый, гордый, быть может, слишком не по нынешним временам красивый и гордый человек... про таких людей говорят устаревшее ныне слово: «Рыцарь»... Умер, защищая чужую жизнь своего политического противника». Белый не оставил нам своих впечатлений об этом событии, обошел его стороной в берлинских очерках «Одна из обитателей царства теней».

Он негативно относился к другу Владимира Дмитриевича Набокова (а, стало быть, и к Владимиру Дмитриевичу) — бывшему депутату Второй Государственной думы Иосифу

\* Рувль, 19 (6) июня 1921 года.

Владимировичу Гессену, ставшему председателем берлинского Союза русских писателей и журналистов, основавшему издательство «Слово», а затем, вместе с Владимиром Дмитриевичем Набоковым, ежедневную газету «Руль» при финансовой поддержке издательства «Ульштайн». Редакция «Слова» и газеты «Руля» почти десятилетие располагалась по адресу Циммерштрассе, 7-8.

Как сообщает Белый, газета «Руль» устроила выпады против вольно-философской ассоциации, «открытой при участии «Некто», то есть Андрея Белого. Белый в очерках о Берлине разъяснил причину конфликта: «Ассоциация подзревалась в большевизме».

---

Германия одной из первых признала РСФСР, так что непримиримая часть эмиграции называла её «красной», а Маяковский нашёл для Берлина промежуточный цвет между красным и белым — он оказался серым. «Белый Париж, серый Берлин, красная Москва» — так он назвал один из своих докладов. «У власти стоял канцлер Вирт, — писал Эренбург, — он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились... Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись; в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий».\*

Таким образом, Германия стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией, а Берлин, по выражению Шлегеля, сделался восточным вокзалом Европы. Один из центральных районов Берлина Шарлоттенбург называли на русский манер Шарлоттенградом, а Берлин и вовсе Берлинском. Андрей Белый сообщает, как уже говорилось, о своих первых берлинских впечатлениях:

«“Некто” попал с вокзала в ту часть Берлина, которая русскими называется «Петербургом», а немцами «Шарлоттенградом»; здесь русскими предпринимателями во всевозможных кабаре демонстрируется камаринская, сопровож-

\* И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. М., 2006.

даемая припевчиком «danke schön, bitte sehr», который к присутствующим обращает «такой-сякой камаринский мужик»; припевчик, наверное, означает «благодарю, не ожидал»; немцами здесь распеваются истинно-национальные немецкие песни: «Sonja», «Natascha» и «Annuschka». В первой, которую немцы особенно любят, проходит припев:

Sonja, Sonja, — deine schwarze Haare  
Küsse ich im Traume tausend Mal ...  
Kann dich nicht vergessen. Wunderbare  
Blume aus der Wolga Thal.

Она открывается строчкою:

«Endlos, endlos dehnen sich die Steppen».

Во второй опять-таки поминается Wolga, что в переводе на истинно шарлоттенградском наречии значит: «не Волга, а — Рейн».

В третьей же, в «blonde Annuschka» фигурирует всё какой-то «Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart», очевидно, это и есть истинный обитатель Шарлоттенграда, бродящий рассеянно по Курфюрстендамму, в то время как «Annuschka», ставшая супругой его, исполняет свои ежедневные функции в русско-немецкой кофейне, которых так много, и отпускает вкуснейшую «Kuljebjaka» за кулебякою пришедшим немецким почтенным семействам» («Одна из обитателей царства теней»).

Обилие русских заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального мира в самом центре Берлина, усугубляло картину, создавая особый городской колорит, что должно было, по всей вероятности, производить на берлинцев впечатление гофмановской фантазмагии. Набоков, проживший в Берлине пятнадцать лет (то есть почти дольше всех других русских писателей-эмигрантов) говорил, что эмигранты находились в этом вольном зарубежье «в вещественной нищете и духовной неге». В автобиографическом романе «Другие берега» он называл коренных жителей Берлина туземцами и «призрачными иностранцами», в чьих городах русским изгнанникам «доводилось физически существовать».

Андрей Белый написал: «И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в нашем городе?»

---

Вадим Андреев побывал у Андрея Белого в гостях и нашёл его сидящим за столом, заваленным газетными вырезками, корректурами, рукописями. Комната оказалась многоугольной, заставленной случайной мебелью. Андреев вспоминал: «Он сделал несколько встречных шагов с лёгкостью и изяществом необыкновенным. Низко поклонившись, протянул мне руку. Все его движения были плавны и неожиданно гармоничны, как будто он исполнял некие балетные па, руководствуясь только им одним слышанной музыкой. А затем я увидел его глаза, светлые, светло-голубые, — ослепляющие. И пристально-зоркие, — не глаза, а лучистые стрелы. Когда-то Берг сказал, что о глаза Андрея Белого можно зажигать папиросы, я возмутился — разве северное сияние может что-нибудь зажечь? Его глаза лучились, сияли, и в этом сиянии было нечто недоступное логическому определению». Уже через два дня после приезда Белого состоялось собрание по созданию русского Дома искусств. Первое заседание состоялось в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, 75. Председателем «Дома искусств» был избран поэт-символист Н. Минский, товарищем председателя А. Ремизов, казначеем — З. Венгерова. Членами правления стали профессор А. Яценко, издатель «Новой русской книги», художники И. Пунин и Н. Миллиоти, А. Толстой и другие. В русской эмигрантской прессе — журнале «Новая русская книга» и газете «Голос России» — было сообщено, что берлинский Дом искусств основан как аналог Петроградского, созданного по инициативе Горького.

В Петрограде на четвёртом этаже флигеля особняка Елисеевых на Мойке, 59 жили и работали М. Зощенко, Вс. Иванов, О. Мандельштам, А. Грин, К. Федин. В начале 1921 года сложилась творческая группа молодых литераторов «Серапионовы братья», назвавшая себя так в память о немецком литературном обществе, впервые (14 ноября

1818 года — в день святого Серапиона) собравшемся в Берлине в квартире Э. Т. А. Гофмана на Таубенштрассе, 32. Большинство членов легендарного «гофмановского» союза «Серапионовы братья» (драматург Контесса, врач Хитциг, писатель Кореф) стали литературными героями собрания новелл Гофмана, — цикла, состоящего из четырёх томов, — названного им также «Серапионовы братья».

Ольга Форш посвятила Дому искусств в Петрограде роман «Сумасшедший корабль». «...Редкий писатель, ткнув пальцем в то или иное окно, не скажет: “Здесь я жил и писал мой том первый”», — писала она.

В «Курсиве моем» Берберова сообщила, что в берлинском Доме искусств читали свои произведения Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Шкловский, Лидин, Зайцев и многие другие. «Просматривая записи Ходасевича 1923 — 1924 годов, — писала она, — я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях».

Еще Эренбург вспоминал берлинское сообщество в автобиографическом романе «Люди, годы, жизнь»: «В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно существовали чистые и нечистые: оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из ЭгониИ Игоря Северянина; он по-прежнему любовался собой и прочитал всё те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я... Теперь мне самому всё это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич... никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости ещё были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию.



Сидят: Борис Пильняк и Алексей Толстой. Стоят: Андрей Белый и Алексей Ремизов. Берлин, 1922.



Карикатура на Андрея Белого в берлинском доме искусств. Берлин, 1922.

А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Гуман ещё клубился».

Дом искусств устраивал вечера и в других помещениях: «19 мая 1922 года. Берлин, Кляйштрассе, 41, Ноллендорфказино. Дом искусств. Пятничное собрание. Вступительный доклад — Илья Эренбург. Есенин и Кусиков читают свои произведения. Марина Цветаева читает свои собственные стихи и стихи Маяковского» («Летопись»). Марина Цветаева читала стихи на Кляйштрассе, 41 на четвёртый день по приезде в Берлин.

Белый в своё двухлетнее пребывание в Берлине принимал участие в объединении литераторов и создании относительно стойкого для переменчивых двадцатых годов центра литературно-художественной жизни. К 1923 году берлинский Дом искусств насчитывал уже 58 постоянных и 83 ассоциированных члена.

10 марта Белый выступил в Берлинской филармонии на вечере, посвященном организации помощи голодающему населению России. Он ещё устраивал вечера сближения двух культур — немецкой и русской. «Берлин, 12 марта 1922 года, Кляйштрассе 10 Ложенхауз. Вечер Томаса Манна. Почетный гость — Томас Манн. Приветственные выступления: Зинаида Венгерова и Андрей Белый» («Летопись»). В ноябре этого же года состоялась встреча с Герхардтом Гауптманом. На этих вечерах Белый выступил и говорил по-немецки.

В марте Белый подготовил к переизданию роман «Петербург», в сокращённой и переработанной редакции, а в апреле вышел в свет сборник стихотворений «Звезда, Новые стихи».

Кроме того, Белый организовал Вольную философскую ассоциацию «Вольфил», став её председателем (он же, напомним, был председателем петербургского «Вольфила»). Почётным председателем берлинского «Вольфила» избран был философ и литературовед Лев Шестов. В декабре Белый

\* И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. М., 2006.

создал при издательстве «Геликон» журнал «Эпопея» под своей редакцией. Всего вышло четыре номера (апрель, сентябрь, декабрь 1922 года, четвёртый с подзаголовком «Литературный сборник» в 1923 году). Белый публиковал там свои мемуары об Александре Блоке. В октябре 1922 года он приступил к сотрудничеству в газете «Дни».

Вадим Андреев свидетельствовал, что поэт был завален работой: «За своё пребывание в Берлине он издал шестнадцать книг — семь переизданий и девять новых книг (этот рекорд был побит, кажется, только А. М. Ремизовым, издавшим девятнадцать публикаций)».

В течение одного только 1922 года в Берлине вышли в свет следующие произведения Белого:

*Повесть «Возврат», статья «Сирии варварства», поэма «Первое свидание», «Глоссолалия, Поэма о звуке», «Записки чудака» (Т. 1, 2), роман «Петербург» (ч. 1, 2), роман «Серебряный голубь» (ч. 1, 2), «Стихи о России», «После разлуки. Берлинский песенник», «Путевые заметки» (Т. 1 Сицилия и Тунис), «Воспоминания об Александре Блоке».*

Только в первой половине 1923 года были опубликованы:

*«На перевале» («Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис культуры»),*

*«Стихотворения», Последняя часть «Воспоминаний об Александре Блоке».*

Трудно себе представить, что при такой работоспособности, умении действовать и объединять людей, сам Белый был абсолютно одинок и, более того, переживал глубокий духовный кризис.

## 2

### Андрей Незванный

*В 21 году я ехал в Дорнах; я нёс серию неразрешенных в 1916 году вопросов об «А. о.», его людях, его быте, о себе в нём.*

Прошло пять лет с тех пор, как писатель уехал из швейцарской деревни Дорнах, где вместе с другими антропософами под руководством Рудольфа Штейнера строил (и по ночам сторожил) «Иоанново здание», названное в честь Гёте «Гетеанум». За пять лет отсутствия в Дорнахе выяснилось для Белого, что, несмотря на срывы и сомнения, он не разочаровался в антропософии, более того, остался связан с нею узами духовного рыцарства, которые крепче цепей, каковы бы ни были противоречия и раздоры с некоторыми представителями учения.

В России он посвятил несколько стихотворений антропософам и самой антропософии, полные боли и тоски. В одном из них, «Антропософии», он обращался с признаниями любви к ней:

Ты снилась мне, светясь... когда-то, где-то...

Сестра моя!

Люблю Тебя: Ты — персикова цвета

Цветущая заря.

.....

В свои глаза — сплошные синероды

Меня возьми;

Минувшие, глаголющие годы

Мои уйми.

«В 21 году я ехал в Дорнах; я нёс серию неразрешенных в 1916 году вопросов об «А. о.»\* , его людях, его быте,

\* Антропософское общество.

о себе в нём и, во-вторых, 1) серию вопросов об антропософии в России, как поданных действительной жизнью, 2) о себе в этой жизни, 3) и о ряде людей, кружков, организаций, облекавших меня доверием как русского писателя и общественного деятеля; хотя бы антропософу и председателю «В. ф. а.»\* есть о чём поделиться с советом «А. о.», и как с деятелями «А. о.»; о своих личных, слишком личных вопросах, как они не казались важными (хотя бы вопрос о медитациях, моём «*опыте*» и т. д.), я думал не слишком пристально, ибо жить личной жизнью в России я отвыкал; наша личная жизнь определялась термином *не*: не ели, не спали, не имели тепла, денег, удовольствий, помещений, здоровья и т. д.)» («Почему я стал символистом...»).

Белый тяжело пережил пожар Гетеанума, случившийся в ночь на 1 января 1922 года, и 27 февраля опубликовал статью «Гетеанум» в берлинской газете «Дни». «Однажды, придя к нему в пансион в Берлине, — вспоминала поэтесса Вера Лурье, — я нашла его расстроенным. Он рассказал мне, что купол антропософского храма Гетеанума в Дорнахе сгорел. Если бы его дух находился в то время там, в этом куполе, он мог, якобы, умереть или тяжело заболеть. Белый принимал участие в строительстве купола, и отсюда его переживания из-за пожара в здании Гетеанума».

«До чего символична жизнь! — вспоминал Белый. — В 1915 году в Дорнахе я видел во сне пожар «Гетеанума»; самое неприятное в этом сне: пожар был — *не без меня*. (...) И опять проносился в душе пожар «Гетеанума»; и душа как бы говорила: «Если бы этой жертвой вернулся к нам дух жизни, то...» Далее я не мыслил. А 31 декабря 1922 года он загорелся; и горел 1 января 1923 года. *Таки сгорел!*»

Псевдоним, взятый писателем в начале века, оказался роковым. Имя «Андрей», восходящее к Андрею Первозванному, в антропософской среде Берлина начала 20-х годов можно было бы с уверенностью обыгрывать по ассоциации со словом «незванный», ибо антропософы (в том числе и русские антропософы) встретили его настороженно и не

\* Вольная философская ассоциация.

испытывали желания сближения с ним. Незванным гостем писатель окажется и для жены Аси Тургеневой, с которой встретится в Берлине чуть ли не в первый день приезда. Ася в Берлине оказалась проездом — она с эвритмическими танцами совершала турне по Европе. Нежелание антропософов и Аси Тургеневой вернуть Андрея Белого в антропософскую среду и будет способствовать его возвращению в Россию, где Троцкому категорически не понравится вторая часть его псевдонима — «Белый».

Лидер революции сочтет его по ассоциации с белым движением враждебным большевизму. И этот изоциренный «выверт» с «белым цветом» окажется одним из веских доводов Троцкого для травли писателя. Таковы озорные повороты имен, прозвищ, псевдонимов и судеб человеческих. Выходит, прав был Иван Бунин, придававший выбору имени (и псевдонима) чуть ли не решающее значение; выходит, интуиция не подвела Марину Цветаеву, сокрушавшуюся в «Пленном духе» выбором Бориса Бугаева псевдонима «Белый», лишавшего его, по ее мнению, рода и племени. Получилось даже и вовсе по Цветаевой в её поэме «Крысолов»:

- Все мы белые?
- Все.
- В чем же дело?
- В словце.

Впрочем, полагаю, что и без белой окраски нашелся бы повод для травли писателя, совершенно неподходящего новой власти.

В Берлине Белый, член Антропософского общества, непрестанно искал встречи с председателем общества Рудольфом Штейнером, Учителем, «на плече которого когда-то возлежал», чтобы рассказать о многострадальной России, считая это возложенной на него миссией, но Штейнер уклонялся от встречи с ним. Отправиться в Дорнах Белый не мог — туда, «за границу», невозможно было въехать с советским паспортом. Отношения Швейцарии с Россией прервались ещё в 1918 году, когда из страны была удалена

советская миссия. Ещё более они обострились в 1923 году после убийства Воровского в Лозанне.

Белый смог без труда участвовать в жизни берлинских литераторов, создать журнал «Эпопея», непрестанно писать, публиковаться, однако же был не в состоянии осуществить контакта с антропософами: «Ни одного ласкового антропософского слова за это время; ни одного просто человеческого порыва со стороны «членов общества»; два года жизни в пустыне, переполненной эмигрантами и вообще довольными лицами антропософских врагов, видящих моё страдание и потирающих руки от радости, что западные антропософы в отношении к «Андрею Белому» поступили...свински; все же это видели без моих жалоб (я не жаловался, а — плясал фокстрот); этого не видели». У писателя создавалось впечатление, что его специально не допускают к Рудольфу Штейнеру для серьезного разговора с ним. У Рудольфа Штейнера в Берлине находилась квартира, где он, когда наезжал в Берлин, останавливался со своей женой Марией Штейнер. Адрес квартиры: Мотцштрассе, 30. На фасаде здания установлена мемориальная доска со следующим текстом:

Rudolf Steiner  
Begründer der Anthroposophie  
Marie Steiner v.Sivers  
wohnen und wirkten hier  
1903 — 1923

(Рудольф Штейнер,  
основатель Антропософии,  
Мария Штейнер фон Сиверс  
жили и работали здесь  
1903 — 1923)

В общей сложности квартира принадлежала Штейнеру двадцать лет, то есть много раньше основания Рудольфом Штейнером нового религиозного учения антропософии, когда являлся членом теософского общества. В прежние свои дореволюционные приезды в Берлин Андрей Белый бывал в квартире Штейнеров на Мотцштрассе на третьем



Берлин. Мотцштрассе, 30. Вход в дом, где находилась квартира Рудольфа Штейнера и где до Первой мировой войны бывали Андрей Белый и Эллис.



Берлин, Мотцштрассе, 30. Надпись на мемориальной доске:

*Рудольф Штейнер,  
основатель  
Антропософии,  
Мария Штейнер  
ф. Сиверс  
жили и работали здесь  
1903 – 1923*

Входная дверь на третьем этаже в квартиру, где жили Штейнеры во время приездов в Берлин и где бывали Андрей Белый и Эллис. Фото Б. Антипова, 2008 год.



этаже (в ноябре 1912, январе, ноябре, декабре 1913, январе 1914), однако же неизвестно посещал ли он Штейнеров в последний берлинский приезд.

Среди антропософов оказались люди, беспрестанно строчившие на Белого доносы в Дорнах. Одной из многих причин «берлинского» разрыва была излишняя откровенность Белого. Он малознакомым людям раздраженно говорил о Штейнере, что было неблагоприятно, и, как сообщала (доводила до сведения) в Дорнах одна антропософка-эмигрантка, «слишком много разбросал так называемых эзотерических тайн». Слухи распространялись, доходили до Штейнера и его жены — Марии Штейнер (до замужества — Марии фон Сиверс), фактически второго руководителя Антропософского общества. «Мороз продирает по коже при воспоминании битком набитого зала в 3000 человек, куда я попал в первый день приезда в Берлин и где встретился с «близкими» некогда мне, и с рядом старых знакомств, и с «дорнаццами», и со Штейнером. Всё «социальное», копимое 5-летием тогда именно рухнуло» («Почему я стал символистом...»).

Однажды в Берлине на собрании «Философского общества» Белый, наконец, встретил Штейнера, ринулся к нему, но тот, который некогда созерцал с ним в Дорнахе высшие существа, а также иные миры, снисходительным тоном остановил его простейшим, чуть ли не обывательским вопросом:

— Na, wie geht' s?

И Белый, едва сдерживая гнев, ответил:

— Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!

— «Ну, как дела?» — «Затруднения с жилищным управлением!»

«Этим и ограничился в 1921 году пять лет лелеемый и нужный мне всячески разговор».

---

Ещё в 1919 году жена Белого Ася Тургенева написала ему из Дорнаха письмо, в котором заявила категорически,

что прерывает с ним всякие отношения. Он и до приезда в Берлин подозревал неизбежность разрыва:

Мне видишься опять —  
Язвительная — ты...  
Но — не язвительна, а холодна; забыла.  
Из немугительной, духовной глубины  
Спокойно смотришься во всё, что было...

Но он всё надеялся, что Ася вернется к нему. Весной 1922 года, когда Тургенева проездом снова оказалась в Берлине, между нею и Белым в пансионе д' Альберт на Пассауерштрассе произошло решительное трагическое объяснение. Редактор «Слова» и «Руля» Гессен, ночевавший по случайному совпадению в этом пансионе той же ночью, вспоминал: «Утром в крайнем возбуждении прибежала в мою комнату почтенная вдова «фрау Альберт» и просила дать совет: выселить ли беспокойного жильца или предупредить полицию.

— Представьте себе — всю ночь я не могла сомкнуть глаз, всю ночь он метался по комнате, как угорелый; он говорил, говорил, она говорила, оба вместе говорили, потом вдруг такая тишина, как будто оба умерли, а потом опять сначала, я вся дрожала, вдруг он выскочит в окно или вот-вот раздается выстрел, добром же это не может кончиться.

Я старался успокоить её, рассказав, в чём дело, и объясняя, что не так просто разорвать многолетние супружеские отношения.

— Это я понимаю, — волновалась она, — но не так же это делается. Если полюбовно не могут разделиться, ведь есть же суд. И почему же нельзя днём поговорить, а всю ночь. Теперь я вижу, почему они оба такие худые и бледные, посмотришь на них, волосы дыбом встают. И представьте себе — ведь нижние жильцы могут возбудить против меня судебный процесс за причиняемое беспокойство\*.

По Берлину распространились слухи о романе Аси с поэтом-имажинистом Александром Кусиковым, приятелем

\* И.В. Гессен. Годы изгнания. 1979.

Сергея Есенина. 1 июня 1922 года в Доме искусств состоялся вечер встречи с журналистом Ветлугиным и приехавшими в Берлин поэтами, как сообщалось в «Накануне», «черкесом Александром Кусиковым и крестьянином Сергеем Есениным». Вечер назывался «Мне хочется вам нежное сказать».

На памятном берлинском вечере выступил Алексей Толстой с речью, в которой очевидна уже была его твёрдая позиция (его окончательное решение) отмежевания от эмиграции (о чём он вскоре прямо скажет в открытом письме Н. В. Чайковскому): «Я отрезаю себя от эмиграции»).

---

Берлин был для Толстого своеобразной «стартовой площадкой» для возвращения в Россию. Толстые отправились в эмиграцию из Одессы на пароходе «Кавказ», где оказались в сыром трюме, вместе с тифозными больными. «Но тогда точно ветер подхватил нас, — писал впоследствии Толстой Бунину, — и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено, не рассказать».

Два месяца добирались до Турции. Вновь прибывших эмигрантов в Константинополь не допускали — размещали в резервации для русских эмигрантов на острове «Халки»; спустя месяц Толстые оказались в Константинополе, где на улицах повсеместная русская речь сливалась с таким же неизбежным заунывным пением муллы, а из ресторана доносилось, как писал Аверченко в одном из рассказов: «Маруся, брось свои замашки, скорей тангу со мной спляши!»

Тысячи эмигрантов так никогда и не выбрались из этого кошмара. Толстых выручил друг семьи, богач и меценат Сергей Аполлонович Скирмунт, приславший из Парижа визу.

Находясь в эмиграции, Толстой в 1921 году в Севре — между Парижем и Версалем — написал роман «Сестры» — первую часть трилогии «Хождение по мукам», основной темой которой была судьба русской интеллигенции в годы революции. Вторая и третья книги трилогии — «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» — создавались уже в Советской России.



**Рудольф Штейнер**



**Мария Штейнер**

Вполне логично было, прежде чем вернуться в Петроград, где Толстой собирался прочно обосноваться, после Парижа поселиться в Германии, признавшей Советскую Россию. Нельзя исключать, что Толстой в 1922 году возлагал надежды на НЭП и надеялся, что времена военного коммунизма были лишь страшным эпизодом, ушедшим в прошлое. Толстой безусловно обладал чутьём выживания. «Эмиграция гниёт, как дохлая лошадь, — сообщал он в одном из писем. — Создавать из этой дохлятины группу, питаться снова нездоровыми мечтаниями о белом генерале, о возрождении ресторана «Прага» и липацких извозчиков — невозможно, как нельзя, например, искусственно вернуть себя в тифозный бред».

В Берлине Толстые вначале поселились в пансионе на Прагерплатц, а затем в пансионе Марии Фишер. В письмах Толстой называет адрес: Kurfuerstendamm, 31 Pens. M. Fischer. (Дом, в котором находился этот пансион в самом центре Берлина, не сохранился). К осени 1922 года Толстым удалось переехать из пансиона в квартиру на Бельцигерштрассе, 46. Дом на Бельцигерштрассе можно было бы назвать «стартовой площадкой» «Аэлиты» Толстого, так как именно здесь он написал свой первый научно-фантастический роман.

Интуиция не обманула Толстого. Он был чуть ли не единственным из возвращенцев — известных писателей, который пришёлся ко двору новому режиму, в отличие от Белого, который проживал свою жизнь в глухом посёлке Кучине за перегородкой от хозяев, не доходящей до потолка, а последние свои два года провёл в подвальном помещении. Видимо, диктатуре пролетариата необходим был собственный граф, но не собственный антропософ (притом, что не только антропософы, но и графы так же были отменены и запрещены новой властью).

---

Итак, Толстой выступил на вечере со следующей красочной речью, рассчитанной на то, чтобы шокировать публику:

«Господа профессиональные эмигранты! И вы, посещающие Внешторг с заднего крыльца, и вы, «с заплывшим брюхом» с Курфюрстендамма, — смотрите, как капризен русский гений. Он дышит — где и как хочет. Минует безразлично благоустроенных господ из Ульштейнгауза\* с их «общеизвестным идеалом»; осеняет буйные головы «голых людей», не отделяющих себя от грозной русской действительности. Вы сдаёте революцию в архив, они её творчески переживают и воплощают. Вы забыли русский язык и пишете «Зало было переполнено». «Каторжники» развёртывают перед вами такие красоты русской речи, что и ваши убогие души трепещут от невольного восторга. Вы хотите свистнуть, но лица ваши складываются в кислую улыбку; руки, созданные для ударов из-за угла, — автоматически рукоплещут».

В берлинском журнале «Огонек. Иллюстрированная летопись современной жизни» объявился фельетон об этом литературном вечере «Берлинские впечатления Пьер-О», где под «молодым черкесом» легко узнаваем Кусиков:

*«Захотелось более чистых и возвышенных впечатлений.*

*И в первую же пятницу я отправился в Дом Искусств.*

*Ландграф-Кафе было переполнено.*

*«Какая смесь имен и лиц, племён, наречий, состояний». И среди них очень маленькая, но маститая фигура поэта Минского.*

*И такая же маленькая, но не менее маститая, фигура писательницы Венгеровой.*

*У входа меня задержала молодая поэтесса Гатида:*

*— Во-первых, десять марок, а во-вторых, рекомендация двух членов, — сказала она.*

*— Да вы не беспокойтесь, — обиделся я, — я человек вполне приличный, не напиюсь и сквернословить не стану.*

*— Нет, без рекомендаций нельзя, — строго заметила она. (...)*

*— Что же, — подумал я, — это, пожалуй, и хорошо... Чтобы в литературное собрание не ворвалась улица. (...)*

\* Толстой здесь явно намекает на издательство «Ульштайн», которое финансово поддерживало газету «Руль», оппозиционную по отношению к сменовеховцам и в частности к газете «Накануне».

*На эстраде появился такой молодой черкес...*

*Он стал в черкесскую позу, окинул слушателей победоносным взглядом и, желая подготовить эффект, изрек:*

*— Что же... Прочесть вам что-нибудь особенно нежное?*

*— Нежное, нежное, — послышалось несколько влюблённых женских голосов.*

*— Извольте: Обо мне говорят, что я сволочь... — отчеканивает он начало стихов.*

*После черкеса вышел на эстраду режиссер Кроль и заявил, что поэт Парнах будет демонстрировать «искания новых движений в области движений». Вышло существо, о котором словами Щедрина можно было бы сказать: «Одна ноздря, а спины даже нет», и начало корчиться в предсмертных судорогах...»\**

Вероятно, тогда и произошло знакомство Аси Тургеневой и Александра Кусикова.

Белый негодовал, говорил, что Кусиков — «поэт с мелкозубой фамилией»\*\* и «кавказец, который никогда не видел кавказского кинжала», однако стихи соперника всё же опубликовал в первом же номере своего журнала «Эпопея» (1922). В номере были опубликованы стихи Ю. Балтрушайтиса, В. Казина, С. Клычкова, Н. Краңдиевской, А. Кусикова, а также три стихотворения самого Белого, из которых два были посвящены Асе. В одном из них, написанном в Берлине в 1922 году, Белый писал:

Ты — тень теней... Тебя не назову,  
Твоё лицо — холодное и злое;  
Плыву туда — за дымку дней — зову,  
За дымкой дней, — нет, не Тебя: былое, —

Которое я рву (в который раз),  
Которое, — в который раз восходит,  
Которое, — в который раз алмаз —  
Алмаз звезды, звёзды любви, низводит.

.....

\* Цитируется по «Зеркало Загадок». Берлинский культурно-политический журнал. Берлин, 1999, 8.

\*\* Настоящая фамилия Кусикова — Кусикянц.

Кусиков был представлен на страницах «Эпопеи» стихами, не отмеченными датой («Зайцы зелёные»), о некоей многозначительной любви некоего пророка:

... А разве пророки влюбляются,  
Разве грустят пророки?  
Мои первые строки были о ней,  
Может быть, неповторные строки.  
А теперь и спокойно, и строго  
Обо всём говорю я векам,  
Говорю, потому что пора,  
Потому что я должен сказать...

Марина Цветаева (в «Пленном духе») сравнивала Асю Тургеневу с первой тяжёлой предгрозовой каплей. «Его жена, — вспоминал Александр Бахрах, — Ася Тургенева, которую мне удалось раз-другой встретить у него, находилась в Берлине. Она приехала из своего антропософского посёлка, из штейнеровского Дорнаха для решительных объяснений, для окончательного разрыва, который она обставила несколько «необычной» и умышленно оскорбительной для самолюбия Белого мизансценой, афишируя, как только могла, свою связь с имажинистом поэтом Кусиковым. (...) От строительства Гегеанума в Дорнахе до пошловатого мимолётного романа путь был действительно огромен!»

Весьма красноречиво письмо Аси к Белому, где она разъясняет ему, почему провела десять дней с Кусиковым, но замуж не вышла (письмо среди многих брошенных бумаг осталось у Ходасевича при отъезде Белого в Россию):

*«Милый Боря,*

*до меня от времени до времени доходит слух, что я вторично вышла замуж.*

*Не знаю, что ты мог думать и говорить о моём поведении для внешнего мира. Разрешение фрау Вальтер жить на её квартире запоздало в силу её отъезда. Благодаря этому, я согласилась жить около 10 дней в одном пансионе со знакомым в пустующей комнате. До остального никому никакого дела нет. Быть может, это достаточный повод для сплетен, но не для утверждений. Для*

*тебя лично повторяю, что, кроме того, что у меня не было желания выходить замуж, я могла бы соединить свою жизнь только с человеком, с которым была бы связана общим делом и общим устремлением.*

*Я не прошу тебя заботиться о восстановлении моей репутации, но мне кажется, для нас обоих лучше, чтобы ты знал моё отношение к существующим слухам. Всего хорошего.*

*Ася.*

*Насколько я знаю, этот слух привезла из России Волошина. Во всяком случае те, кто видели меня с К., из моего поведения не могли этого вывести»\*.*

Белый перебрался в один из южных пригородов Берлина Цоссен, в дом у шоссе на дороге напротив кладбища (о Цоссене расскажу ниже), а затем вернулся в Берлин, где поселился на Виктория-Луизаплац в пансионе Крампе. Тогда и начались его знаменитые попойки и фокстроты.

---

Русский Берлин стал недоброжелательным свидетелем стресса поэта, его «катаlepsии сознания», проявившейся в танцах в немецких пивных. «И произвольный хлыст моей болезни — вино и фокстрот». «Внешне прибавлю, что в период моего берлинского обморока я ещё должен был 1) (зарабатывать хлеб, 2) вести журнал, 3) написать три тома «Начала века»), организовать отделение «В. ф. а.», организовать «Дом искусства». Всё это проделывал я в сплошном бреду».

Очевидно, что наслаивались невыговариваемые вслух причины конфликта (мемуаристы, по сути, пользуются одной фразой: «они (Штейнер и Белый) разошлись»). «Нет сомнения, что во время кризиса 1922–1923 гг. в Берлине в состоянии аффекта, Бугаев выражался о Штейнере враждебно, — свидетельствовала Ася Тургенева. — Кроме того, газетные анонсы распространяли сплетни о его творческих планах, связанных с памфлетом “Доктор Доннер”».

\* Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. М., 1996.

«Тогда новая клевета возводится на меня, — вспоминал Белый, — я де мол написал пасквиль на Рудольфа Штейнера «Доктор Доннер» (тема, изображающая католического иезуита, направленная против традиций церковности); клевете верят!»\*

Белый всё же дважды ездил на недельные антропософские съезды в Штутгарт, публиковался в антропософской периодике. Перед отъездом из Германии писатель, наконец, встретится и с Рудольфом Штейнером, и с Марией Штейнер для примирения с ними, твёрдо уверенный в том, что его «ушли». В письме от 11 марта 1923 года он писал Марии Штейнер: «Если бы я был врагом антропософии, я бы не писал то, что пишу; судите меня по фактам моей общественной деятельности, а не по «сплетням» обо мне. Да, мне горько и нелегко; и много горечи я вынес за эти 15 месяцев; у меня было впечатление, что в итоге 5-летней работы в России я оказался просто за порогом О-ва (не я ушёл, а меня «ушли»).

Что я никуда не ушёл и уходить не собирался, я доказал своим пребыванием в членах, своей отдачей книг в антропософское издательство... и даже своей статьей «Ди Драй». А бегать за мадам Штейнер с унижительными уверениями в «верности» и «преданности» я не мог; да и не был в состоянии заниматься такими делами: я был болен».

Остается добавить, что Мария Штейнер впоследствии всё же откликнулась на смерть Белого, написала некролог. 14 января 1934 года в дорнаховском издании антропософов появилась следующая заметка:

*«Только что мы получили из Москвы известие, что наш давний член, до самого начала войны трудившийся со всеми здесь, в Дорнахе, — г-н Борис Бугаев — покинул физический план. Ценимый писатель и лирический поэт высокого порыва, он счёл при этом своим долгом в годину тяжчайшего испытания стоять до конца в своём отечестве. Изнуряющие лишения и муки принесли ему безвременную смерть. Знавшие его не забудут пожирающий*

\* Н. Берберова. Там же.

*пламень напора его души. И он принял венец мученика царящих в России условий»\**.

---

Если бы речь шла о некоем обществе, изначально, с низших ступеней *тайном*, допустим — розенкрейцеров, масонов, тамплиеров, карбонариев, госпитальеров, меченосцев и прочее, связанном со дня вступления непрременной клятвой молчания, то можно было бы трактовать отторжение обществом одного из своих членов — ученика или подмастерья — как изгнание, то самое позорное изгнание (вычёркивание из списков на время, или навсегда), которое во многих тайных союзах и орденах, восходящих к Гермесу, каменщикам и Хираму, называется «радиацией»\*\*. В нашем случае относительного *тайного* общества (на самом деле, в Антропософском обществе существуют высшие формы посвящения, связанные с эзотерическими тайнами, не подлежащими разглашению\*\*\*) Андрей Белый со всей очевидностью был подвергнут негласному изгнанию, ибо нежелание Рудольфа Штейнера и Марии Штейнер встретиться лично с посвященным членом общества, строившим с ними первый Гетеанум, для выяснения возникших недоумений равносильно негласному изгнанию.

Мне, непосвященной, не присутствовавшей на заседаниях высших инстанций, принимавших решения по некоторым конкретным личностям, можно лишь предполагать и размышлять. Одна моя знакомая дама-антропософка заверила меня, что никто никогда не узнает, отчего

\* М. Спивак. Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006.

\*\* Масонский термин, означающий исключение.

\*\*\* Когда образовалось Антропософское общество, Штейнер задумал ступени посвящения, отделяющие высокопосвященных от остальных, для чего вначале создавались тайные кружки внутри общества. После Первой мировой войны задуманы были два высших класса посвящения, осуществлен был один, насколько мне известно, первый.

Штейнер и Белый разошлись. Пожалуй, дама знала наверняка, о чем говорила с уверенностью. Я не могу узнать того, чего узнать невозможно.

Тем не менее, перелистаем, по возможности, страницы антропософской биографии русского писателя и поэта Андрея Белого, повлиявшие на творчество Белого и имевшие непосредственное отношение к трагическому берлинскому эпизоду с танцами в немецких закоптелых пивных, напоминающими скорее ритуальное действие, а не фокстрот.

### 3

## Брюссель: посланцы Минцловой

*Мистика не может согласиться с необходимостью внешних феноменов. Ни Христос, ни Будда, ни пророки не устраивали внешних сеансов, а если и производили чудеса, то они имели явно преобразовательный смысл, т. е. были символами, а не феноменами.*

В 1909 году поэт, писатель, теоретик символизма Андрей Белый познакомился со своей будущей женой Анной Алексеевной (Асей) Тургеневой, тогда восемнадцатилетней начинающей художницей, обучавшейся в Брюсселе гравюре у известного художника Мишеля Огюста Данса. Ася Тургенева станет адресатом большинства стихотворений Белого — сборников «Звезда» и «После разлуки», прототипом многих его героинь — Кати Гуголевой в «Серебряном голубе», королевны в цикле «Королевна и рыцари», Нэлли в «Записках чудака» и «Путевых заметках».

В конце 1910 года Тургенева и Белый совершили длительное путешествие: побывали в Италии, Тунисе, Египте, Палестине. Белый пытался найти на Востоке новые духовные ценности, которые придут на смену «одряхлевшим» ценностям Европы. Литературный итог путешествия — два тома «Путевых заметок» (1911).

Молодожёны ненадолго вернулись в Россию, но вскоре вновь отправились за границу, на этот раз в Брюссель, где Ася продолжала учиться гравюре у Данса, а Белый продолжал работу над романом «Петербург». Из Брюсселя отправились в Кёльн на лекции доктора Рудольфа Штейнера.

Поездка отнюдь не была случайностью. Поездке в Кёльн предшествовали воистину судьбоносные

брюссельские события: обоим — ей и ему — во сне стал являться Рудольф Штейнер, или некто, похожий на Штейнера; также некоторые личности благородной внешности с особой печатью на лице и величием во всем облике встречались им в трамвае и на трамвайной остановке, непрерывно и призывно глядя на них. Мистические события свершались и в квартире: то вдруг угольно-чёрная тучка настороженно останавливалась у окна, стараясь привлечь к себе внимание, то внезапно раздавался стук в дверь, причём *именно* мистический, поскольку *сверху* раздавался этот самый стук, а не там, где обыкновенно люди стучат, и прочее в этом роде.

Андрей Белый подробнейшим образом описал эти невообразимые события в письме к Блоку, которое я приведу в конце этой главы. С 1904 года между поэтами возникла «мистическая», экзальтированная дружба. Правда, отношения приобрели затем драматический характер из-за увлечения Белого женой Блока Любовью Дмитриевной, но дружба поэтов всё же не прерывалась, а, наоборот, возобновлялась. Что же касается их переписки, то она составила важнейшую страницу эпистолярной культуры «Серебряного века». Александр Блок, который субсидировал поездку молодожёнов в Брюссель (дал в долг Белому 500 рублей), читал огромное письмо Белого о брюссельских волшебствах с упоением, но, несмотря на то, что Белый просил прочитать его друзьям, не решился кому-либо его показывать. Из брюссельских событий стало очевидно, что Штейнер зовет их — Асю и его — к себе, *и надо ехать*. Так что однажды в майский полдень 1912 года молодожёны вдруг в одночасье собрались и отправились на поезде в Кёльн. Не без труда удалось попасть на лекции Штейнера, однако повезло — удалось. И всё, что касается контактов со Штейнером, удавалось. И всё — на удивление удавалось, как будто на пути к Штейнеру загорался зелёный свет. Тогда как на самом деле ничего удивительного в таком быстром налаживании контактов не было: Штейнер был наслышан об Андрее Белом, он получал информацию из России о

деятельности всевозможных религиозных и оккультных организаций.

---

В качестве примера приведу одно примечательное письмо Эллиса, Льва Львовича Кобылинского (обнаруженное мной в статье Ренаты фон Майдель «Спешу спокойно»: К истории оккультных увлечений Эллиса. «НЛО», 2001, № 51), адресованное основателю антропософии Рудольфу Штейнеру, приоткрывающее завесу обществ и сообществ того времени, причём, привожу почти без купюр, дабы нечаянно не стряхнуть пыль таинственной «розенкрейцеровской» атмосферы эллисовского послания столетней давности, а заодно — и мистически-оккультной атмосферы тех давних дней:

*«Многоуважаемый учитель! Не хочу Вам советовать, но только нужные факты сообщить, чтобы правдивость объяснить! Мой хороший друг и так же, как г. Бугаев, духовный брат — г. Киселёв-Винг (не художник Киселёв, который живёт в Мюнхене) вмешивался уже давно в русское художественно-мистическое движение, так называемый «символизм», который имел главным лидером г. Бориса Бугаева-Белого и был переходом от декадентства, благодаря влиянию Ницше, к бессознательно-атавистическому оккультному стремлению.*

*В этом движении г. Белый и я, как Эллис (моё романтическое имя), в 1904 г. основали тайный союз «агргwg». В этом союзе был и г. Киселев persona grata. В 1910-11 гг. этот союз преобразился в издательство «Мусагет» при влиянии г. Метнера — главного редактора. Г. Киселёв — интимный член и «Мусагета». Он изучал очень серьёзно оккультизм уже давно, я не знаю другого человека в России с такой большой эрудицией в оккультизме. У него была большая интуиция, он был поклонником старого розенкрейцерства, и при этом большой трагедией для него был переход к теософии как внешнему течению. Индийское влияние (Besant) обидело и его; в переходный период г-жа Минцлова имела большое влияние, благодаря лжи, что она посвящённая в старое розенкрейцерство. Она основала в «Мусагете» тайный союз без меня,*



**Эллис, поэт-переводчик, антрополог, друг Андрея Белого (Лев Кобылинский).**

**BLÜTHNER-SAAL**

Donnerstag, 1. Juni 1922  
8 Uhr abends

**Gr. Vortrags-  
Abend**

von Dichtern und Schrift-  
stellern des Neuen Rußland.

**Graf Alexej Tolstoi  
Serge Essenin  
Alexander Kussikoff  
A. Wetlugin**

mit ihrem neuesten Werken

Veranstaltet von  
Verlag „ROSSIJA“, G. m. b. H.

*потому что она ненавидела меня за мой фанатизм к Вам. В этом союзе были гг. Метнер, Киселёв, Бугаев-Белый, Сизов (Михаил), Петровский. Все они ждали другого учителя. Г. Киселёв был и есть абсолютно искренний человек, но, как русский, ребёнок и внутренне. Теперь я с бесконечной трудностью привёл его к теософии, и у него большой интерес и доверие к Вам, но... многие остатки эстетизма, декадентства, старо-окультизма, русского старчества и его библиофилия (это его болезнь) бесконечно мешают ему. Невозможно тяжело с ним говорить, он абсолютно молчаливый человек и негармоничный. Я чувствую, что связан с ним мистифией Грааля и средневековой эзоферикой. (...) Я прошу, учитель, помочь моему другу!*

*С большой надеждой Эллис».*

Эллис — поэт, ныне почти забытый, упоминаемый разве что в связи с Мариной Цветаевой и Андреем Белым и его отношениями со Штейнером. Белый говорил о нём: «Я люблю его за вечность, которая в сердце его». Поэт «орфеист» Эллис, Лев Львович Кобылинский, внебрачный сын известного педагога Поливанова (в привилегированной гимназии которого учились Сергей Эфрон, поэты Брюсов и Белый, и сын Льва Толстого Л. Л. Толстой), выпускник Московского университета, филолог, мистик, драматург, переводчик «Гимнов Орфея». Именно Эллис был одним из основателей издательства «Мусагет» и вошел в «триумвират консулов» вместе с Андреем Белым и Эмилом Карловичем Метнером. «Мусагет» открылся весной 1910 года на Пречистенке, 31 (просуществовал четыре года) и стал центром русского символизма, средоточием кружков, в которых Марина Цветаева принимала, по её же словам, пассивное участие. Над креслом в кабинете редактора издательства Метнера висел портрет Гёте, также красовался на стене портрет главы антропософии Рудольфа Штейнера, и ещё Пушкина и Тютчева. Издательством было выпущено несколько книг, главным образом, мистического характера, с изображением (знаком) Орфея на обложке. Впоследствии Белый посвятил «Мусагету» стихи:

... Помню наши встречи  
Ясным, красным вечером,  
И нескончаемые речи  
О несказанно дорогом.  
Бывало, церковь золотится  
В окно над старою Москвой,  
И первая в окно ложится  
Кружась над мёрзлой мостовой  
Снежинок кружевная стая,  
Уединённый кабинет,  
И Гёте на стене портрет...  
О, где ты, юность золотая?

Для полноты картины (на самом деле, для полноты картины следовало бы издать собрание сочинений изощренной фантазии литератора Эллиса) сообщаю, что член тайного общества «Арго» («*Argo*»), основанного в 1902 году, Эллис к тому же ещё обладал воистину мистической внешностью: на белом мраморном лице с очень чёрной бородой и ярко красными губами светились зелёные глаза. В поэме «Чародей», целиком посвященной Эллису, Цветаевой дан его портрет:

Излом щеки, сухой и резкий,  
Зелёный глаз,  
  
Крутое остриё бородки,  
Как злое остриё клинка,  
Точеный нос и очерк чёткий  
Ворогничка.

Пожалуй, ещё раз приведу стихи из «Чародея» Цветаевой, упоминаемые мною в предисловии, о мечте ее первого возлюбленного Эллиса стать розенкрейцером:

Из чёрной глубины рояля  
Пылают гроздья алых роз  
— «Я рыцарь Розы и Грааля,  
Со мной Христос».

Судьба поэта такова: страстный поклонник антропологического учения Штейнера, он в 1911 году уехал из России в швейцарский Дорнах строить Гетеанум, написал труд о мистическом значении святого Грааля, в 1913 году окончательно порвал всякие отношения со Штейнером (и Андреем Белым тоже). Одной из причин конфликта явилось намерение Эллиса печатно в «Мусагете» разгласить некоторые эзотерические тайны, которые Штейнер доверил ему. Именно Белый спас тогда положение, проявив с Асей Тургеневой невероятную активность, дабы тайны остались тайнами. Вот почему я скептически отношусь к берлинским разговорам о болтливости Белого — его внешняя как будто бы откровенность была лишь прикрытие того, что он знал.

Находясь за границей, Эллис опубликовал в «Мусагете» книгу «Арго». Он умер в Швейцарии в Локарно-Монти в 1947 году. Тайный союз «*argwt*», о котором сообщает Рудольфу Штейнеру Эллис — это и есть союз аргонавтов. *Argwt* — стало быть, знак и символ его. В очерке «Почему я стал символистом...» Белый, вспоминая о своих разочарованиях московскими аргонавтами, писал: «Тут и начинается миф об «Арго», подбирающем аргонавтов к далёкому плаванию; в «Арго» я мыслил сидящим «Орфея» — знак Христа: под маской культуры (для первых христиан — знак Рыбы).

И у меня впечатление, что в сезоне 1903 — 1904 годов милые друзья-аргонавты ту Рыбу... «*сьели*»: так, как я описал в стихотворении лета 1903 года:

Поданный друзьям солнечный шар был ...  
съеден.  
Растерзанные, солнечные части  
Сосут дрожаще жадными губами...  
Подите прочь...!

Летом 1903 года пишу: «Наш Арго...готовясь лететь, золотыми крыльями забил».

---

Пафос неминуемой гибели характерен для русского ренессанса. «Русскими душами овладели предчувствия

надвигающихся катастроф, — писал Н. Бердяев. — Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир»\*. Белый в воспоминаниях о Блоке утверждает, что летом 1911 года в Боголюбых, что недалеко от Луцка, где находилось имение отчима Аси, в буквальном смысле слышен был грохот времени, грохот надвигающихся будущих войн и, вероятно, даже той Второй мировой, до которой Белый не доживёт:

«Не могу не отметить переживаний предчувствия: эти места — Луцк, Боголюбых, Торчин через три года попали в громадную полосу русско-австрийского фронта; летом же 1911 года не указывало ничто на войну; а какое-то беспокойствие нас всех охватило; и — да: на прогулке, в полях, очень явственно мы (я, Наташа и Ася) прислушивались к явственным глухим рокотам грома, иль грохота раскаленных орудий, напоминающих гремение телеги по вымощенному шоссе.

- Слушай...
- Слышишь?
- Гремит?
- Да — гремит.

Гром? Безоблачное небо. Орудие? Да откуда? Телега проехала по дороге? Дорога, пустая — протянута вдаль. Нет источника грохота, а — погромыхивает. Слышу — я, слышит — Ася, Наташа — прислушивается среди порхающих васильков и уже созревающей наклонённой пшеницы; вот — грохнуло; обрывается наш разговор; мы молчим: ру-ру-руу...

- Слышишь?
- Да, да: погромыхивает!»

«Описываю восприятие грохота здесь, в этих мирных полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться; впоследствии домик лесничего, маленький домик наш и тот большой, через год лишь отстроенный дом, — всё разрушено было: австрийскими пушками (здесь

\* Н. А. Бердяев. Самопознание. М., 1991.

погибли и книги мои, и коллекция безделушек из Африки); годы здесь длились бои; но предчувствия будущих грохотов, слушали мы... за четыре года до грохота.

Общее впечатление лета: гремящая тишина; тишина зрела «громами»: упдающей эры; гремело не здесь, а над миром; и можно было слушать тяжелые поступи будущих лет. Стихотворения, мне слагавшиеся в то лето, — призывные боевые:

И опять, и опять, и опять —  
Пламенея, гудят небеса...  
И опять, и опять, и опять —  
Меченосцев седых голоса.  
Над громадой лесов, городов,  
Над провалами облачных гряд —  
Из веков, из веков, из веков —  
Пролетел меднобронный отряд.  
Выпадают громами из дней...  
Разрывается где-то труба:  
*«На коней, на коней, на коней»...*  
Разбивают мечами гроба.

Стихотворение написано в Боголюбых под впечатлением грохота, слышимого порою в полях ... среди безоблачных июльских небес, когда ни телега, ни бричка не разгромляла дороги.

Грохотала грядущими бедами атмосфера России; мы — грохот слышали! Часто я возвращался в ту пору к стихотворениям Блока; звучали мне строчки:

Я слушаю рокот сечи  
И трубные крики татар,  
Я вижу над Русью далече  
Широкий и тихий пожар.

И писал я:

Тяжёлый, червонный крест —  
Рукоять моего меча.

Ощущалось, что мы — *“дети страшных годин”*.

В поэме «Возмездие» Александр Блок дал страшный образ нового столетия так, будто приснился ему пророческий сон:

Двадцатый век... ещё бездомней,  
Ещё страшнее жизни мгла  
(Ещё чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).

«Отчаявшиеся люди бросаются на всё, что касается духа», — сообщала в одном из писем Марии Штейнер антропософка Анна Писарева.

---

Вдруг выяснилось, что с самого начала века русские литераторы искали выход к средневековым розенкрейцерам. Общество розенкрейцеров, не связанное со *средневековым — искомым*, существовало в России 18-го — начала 19-го века, пока Александр I не прервал его безобидного существования. Возобновилось общество в опаснейшие большевистские 1920-е годы — то есть тогда, когда запрещалось абсолютно всё, намекающее на запредельное (кроме изрядно ритуальных комсомольских и прочих в этом роде организаций, сопровождаемых символами и всевозможными атрибутами). Сталин, бывший семинарист, отменил даже и сам *атеизм*, то есть наложил запрет на тему. Поскольку многие литераторы начала века пытались «найти», отыскать *именно это тайное общество*, отчего и вступали в дружбу (Волошин, Белый, Иванов, например) с Анной Минцловой, утверждавшей, что знает *туда* дорогу, считаю нужным дать справку (в моём вольном изложении) о розенкрейцерах, воспользовавшись материалами Мэнли Холла:\*

*Братство Розы и Креста — R. C. — одно из самых таинственных когда-либо существовавших тайных обществ, глубоко вовлечённое в трансцендентализм. Одна из версий: орден был*

\* Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. СПб, 1994.

основан в Германии в 1400 году Отцом и Братом С.Р.С. (*Christian Rosie Cross?*), который построил большой Дом Святого Духа, куда братья, «Неизвестные Философы», связанные взаимным приращением, съезжались один раз в году. «Неизвестные Философы», как полагают, обладали невероятными способностями преодолевать ограничения материального мира. Проникнуть в Р.С. было невозможно — розенкрейцеры сами выбирали себе достойных последователей. Предположений о личности главного адепта Р.С. существует множество: начиная от Христиана Розенкрейца, Рыцаря Золотого Камня, автора «Химической свадьбы» (а также немецкого теолога Иоганна Валентина Андреа) — до графа Сен-Жермена. Предполагают, что розенкрейцерами были сэр Фрэнсис Бэкон, автор «Новой Атлантиды», и Вольфганг фон Гёте. Тема розенкрейцества стала любимейшей в литературе, вероятно, из-за своей неуловимости. Джон Хейдон в своей работе «Раскрытые Роза и Крест» писал: «А есть ещё люди, как они сами себя называют, Розенкрейцеры, божественное братство, населяющее окрестности небес, представители Вершителя мира, глаза и уши великого Короля, видящие и слушающие все вещи; говорят, что эти Розенкрейцеры ангельски просвещены, как просвещён был Моисей».

Итак, проникнуть в Р.С. самостоятельно невозможно — розенкрейцеры сами выбирают последователей. Так что все усилия угадать, узнать — бесполезны.

У меня нет ни склонности, ни желания говорить об Анне Рудольфовне Минцловой, уверявшей, что знает дорогу к старым розенкрейцерам, с привычным для многих недоверием, так же, как не рискнула бы я иронизировать по поводу графа Калиостро, или же графа Сен-Жермена, поскольку нет конкретных контрдоводов в пользу их авантюризма (так же не стала бы утверждать обратного). Эллис в письме к Штейнеру не называет тайного общества, которое основала Анна Минцлова, однако, судя по его письму, некое тайное общество существовало. «Она основала в «Мусагете» тайный союз без меня, — сообщает Эллис, явно оскорбленный тем, что его обошли, — потому что она ненавидела меня за мой фанатизм к Вам».

Анна Рудольфовна Минцлова — внучка знаменитого библиографа Рудольфа Ивановича Минцлова, старшего хранителя иностранного отдела Императорской библиотеки, преподавателя немецкой литературы в Александровском лицее. Она — сестра не менее знаменитого библиографа и писателя Сергея Рудольфовича Минцлова, автора книг «За мёртвыми душами», «Далёкие дни», «Петербург в 1903—1905 годах», «Трапезная эпопея». Принадлежность к такой семье уже придавала весомость тому, что проповедовала Минцлова. Минцлова (фрейлейн фон Минцлова, как называл ее Штейнер) — известная русская оккультистка, одна из первых последовательниц Штейнера. Она перевела несколько работ Штейнера на русский язык и вначале активно пропагандировала его идеи. Решив затем, что переросла своего учителя, отошла от него. Минцлова пользовалась авторитетом у символистов, намеревалась образовать общество розенкрейцеров, в котором ведущую роль отвела Вячеславу Иванову и Андрею Белому. Отказ писателей следовать за ней был воспринят ею как знак невыполненной миссии (якобы, возложенной на неё *Кем-то*).

«По рассказам она напоминала Блаватскую, — вспоминала Ася Тургенева. — Обладая глубокими знаниями, она горела стремлением создать круг людей в помощь стоящим за ней для борьбы с предстоящими человечеству катастрофами (...). Минцлова заявила, что она должна скрыться, навсегда покинуть собравшихся друзей, так она и сделала (...).

На прощание Минцлова сказала Бугаеву, что в течение года он, может быть, встретит того, с кем она хотела его свести. Слова эти оказались загадкой; со временем всё же выяснилось, что Минцлова, бывшая ученица Штейнера, получила свои обширные познания от него, но потом с ним разошлась».

*Неясная* Минцлова, с её уверениями, что она является посланцем неведомых благодетелей человечества, — примета времени, его особый знак. Кстати, Минцлова в самом деле неожиданным образом исчезла на манер розенкрейцеров с «жизненного плана» (и на манер подвергавшегося

реинкарнации Сен-Жермена) — и по сегодняшний день её нет. Исчезла — и всё тут.

Андрей Белый — последний — видел ее. Это он провожал её на поезд, отправляющийся из Москвы в Петербург. Однако в Петербург она не приехала, и больше её никто не видел.

«Читатель, — о фактах тех не могу рассказать ничего я конкретного; — вспоминал Андрей Белый, — всё равно: им поверить так трудно; и мне не понятны они; я скажу лишь два слова о том, что она мне сказала, — скажу отвлечённо, обще: сообщила, что «миссия», ей де порученная (возжечь к «свету» сердца, соединив нас для «света» духовного), ею не исполнена; «миссия» де провалилась её, потому что её неустойчивость и болезненность вместе с растущей атмосферой недоверия к ней среди нас расшатала всё «светлое дело» каких-то неведомых благодетелей человечества, за нею стоящих; а между тем: дала слово она («им» дала), что возникнет среди нас братство Духа; неисполнение слова, де, падает на неё очень тяжело; её удаляют «они» навсегда от людей, и общений, которые протянулись меж нею; она исчезает де с того времени навсегда; и её не увидит никто; и она умоляет нас всех; эти годы ближайшие строго молчать о причинах её окончательного исчезновения.

Я так и не понял, — что, собственно, означает исчезновение это: исчезновение — «куда»? В монастырь, в плен, в иные страны? Или же — исчезновение из жизни? Но что-то подсказало, что на этот раз этот бред не есть «миф» её, и что мы никогда не увидим её; бывало, пускает словесные мнения, как змеев бумажных; дёргаются под небесами хвостом из мочала они; а теперь я отнёсся к словам её, как к какой-то ужасной, всю душу смущающей тайне её, про которую мне ничего неизвестно; известно одно: это — правда.

Запомнился мне этот день, непрозрачный и белый, как горный хрусталь: этот день, оседающий в тень; и запомнился лист с червоточиной, кажется липы-листухи, за окнами, — там, где кислятиной бедной приbedнилось всё; и запомнилась полная, точно опухшая, Минцлова в «чёрном

мешке» с запрокинутой головой, с глазами Блаватской, не то «шарлатанскими», не то гениальными.

Единственный случай бесследного исчезновения человека, который я знаю, живёт до сих пор неизживным вопросом во мне: как возможно, чтобы имеющий столько друзей и знакомых живой человек так бесследно исчез, чтобы даже не спрашивали впоследствии: что случилось с Минцловой? В Петербурге у ней был, я знаю, ряд верных друзей; в Москве — кто не знал её? У покойного проф. К. А. Тимирязева, у В. И. Танеева, у Ф. И. Маслова, у «аргонавтов» и «мусажетчиков», у теософов она была своим человеком. С 1910 года же исчезла бесследно; не поднималось — вопросов, тревог, беспокойств. Лишь ходили страннейшие шёпоты, что де бросилась в волны она Атлантического океана, что де живёт она в монастыре иезуитов (и называли мне города в Италии, где её будто видели). Верных сведений — не было\*.

Белый здесь несколько отмежевывается от Минцловой, тогда как на самом деле серьезно отнесся к её сообщению о том, что в течение года после её исчезновения явятся к нему посланцы оттуда. Для опознания и контакта она вручила ему некое кольцо (посланцы должны были произнести несколько изречений из Евангелия в качестве «опознавательных знаков»). Именно с предсказаниями Минцловой Белый связал воистину судьбоносные брюссельские события, когда ему и Асе, обоим, во сне стал являться Рудольф Штейнер, или некто похожий на Штейнера; также некоторые личности встречались им в трамвае и на трамвайной остановке, непрерывно и призывно глядя на них и прочее и прочее. Именно с определенной целью и направились Белый и Тургенева в Брюссель, преисполненные надежд быть выбранными, наконец, невидимыми таинственными «настоящими» розенкрейцерами, выходцами из средневековья.

Интересно, что при первой же встрече в Кёльне между Штейнером и Белым состоялся серьезный разговор о

\* Андрей Белый. Воспоминания об А. А. Блоке. Эпопея, № 4, 1923 (Берлин, Геликон).

Минцловой (беседа о ней продолжалась и во время второй и третьей встречи). Спустя четыре года, как свидетельствует Ася Тургенева, после брюссельских явлений у Белого произошла примечательная встреча в соборе Лозанны. К нему подошёл пожилой господин и прочитал по книге те самые, предсказанные Минцловой, слова из Евангелия, затем простился и ушел. Белый надеялся на то, что возможно это и есть посланец розенкрейцеров. Однако Штейнер, выслушав пылкий рассказ Белого, разочаровал его. «Этот господин, — заключил он, — сам не имел ко всей ситуации никакого отношения. Фрейлейн фон Минцлова умерла и не могла успокоиться, пока не закончила того, что начала. Через него говорила она».\*

*ЭКСКУРС: сбылись ли предсказания Минцловой, и они в Брюсселе явились? (Отрывок из брюссельского письма (с купюрами) Белого Блоку от 1 – 14 мая 1912 года:*

*«Милый, бесконечно дорогой друг!*

*Давно уже мысленно говорю я с Тобой. Оттого-то я не писал. Не хотелось писать наскоро, путать внутреннее со слепым и случайным. Да и кроме того: мы с Асей переживали «события странные». О них не так-то легко написать.*

*Пусть письмо это останется между нами: тогда опишу тебе нашу брюссельскую эпопею — развязка которой произошла в Кёльне. Но прежде чем подступить к этой эпопеи, скажу тебе о Рудольфе Штейнере...*

*(...) Я узнал, что Штейнер стал во главе теософского движения Германии, что его миссию определяют, как движение, реформирующее само теософское движение; он де переводит индуизм и брахманизм официальной философии на новый язык, выдвигая средние века и розенкрейцеровские истины; словом, теософию акцентуирует в христианстве он, которому придаёт особый рыцарски-мужественный отпечаток.*

\* А. Тургенева. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве Первого Гетеанума. М., 2002.

(...) С 1909 года, когда я узнал, как близко проходит линия Штейнера от всего того, что стало для меня «Светом пути», я повернулся к нему с глубоким благоговением. Я понял, что то, что эзотерически для меня «Чаемый Свет», то свет и для Штейнера: я узнал, что он живёт в самом свете (...)

*Биография Штейнера.* Когда-то ученик Геккеля, натуралист; 20 лет был женат на вдове (мегере) с многими детьми\*; писал и в газетах фельетоны; был школьным учителем. 20 лет молчал, ничего не сказал, ничего своего не написал. И вдруг открылся

(20 лет молчания были реально необходимым Путём). Не желая пока дробить теософского движения, условно присоединился к теософам: данное ему зная укрыв до времени теософским флагом; но, став условно и временно вообще теософом, реально сдвинул теософию в Германии. Говоря о теософии вообще, следует помнить, что теперь есть две различные теософии: теософия Блаватской и Безант, передающая мудрость йогов; и теософия Штейнера, передающая мудрость иных... Обе теософии пока самым внешним образом для внешних сплетаются как (блок кадетов с профрессистами в точке предвыборной агитации).

*Таков Штейнер.*

С 1910 года по многим причинам, о которых Тебе писать в письме не могу, Штейнер стал со всеми нами в особенно резких и интимных контактах: одни слепо бросились к нему, как Эллис, другие слепо идут с ним, как Волошина\*\*, третьи украдкой совершают к нему паломничества, четвёртые, как Рачинский и Московское Религ<иозно> – Философское О<бщест>во, уже два года смотрят на него, как на грядущую опасность (Булгаков сказал мне как-то: «Неокантианство, это — что: подступает уже настоящая бездна — Штейнер»). С осени 1911 года Штейнер заговорил изумительнейшие вещи о России, её будущем, душе народа и Вл. Соловьёве (в России он видит громадное и единственное будущее, Вл. Соловьёва считает замечательнейшим человеком второй

\* Штейнер женился на Анне Ойнике (1853 – 1911), вдове и матери пятерых детей.

\*\* М. В. Волошина (Сабашникова) стала последовательницей Штейнера, благодаря посредничеству Минцловой, с осени 1905 года.

половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что закаты с этого года переменились: если бы это не был Штейнер, можно было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и «Вторую Симфонию»). В 1911 году в Москве была настоящая штейнериада: про и сонга Штейнера не раз колебали самое существование «Мусазета».

Пишу всё это, чтобы Ты понял, что развязка (или, наоборот, завязка) со Штейнером кармически для меня назревала давно. Я знал, что встречи с ним не миновать (характера встречи не представлял), но думал, что это будет — через год, через два. Уезжая из Москвы, я ехал работать в Брюссель.

Тут-то и начались у нас с Асей «приключения странные».

Вот — не правда ли — пространное предисловие; в заключении прилагаю портрет Штейнера, выданный из книжки (плохонькое воспроизведение); всё-таки портрет этот говорит: рассмотри его на досуге.

---

С прошлого года у нас с Асей иногда выпадают особые полосы.

«Лишь забудешься днём, иль проснёшься в полночи,  
Кто-то здесь... Мы вдвоём...»

Или: вернее — троём.

Это было в Монреале, в Сицилии (местность, где Вагнер закончил «Парсифаля»): одно странное, благодатно мне говорящее лицо я увидел в трамвае... Потом полосы гонений (каирская страда, когда в Москве, то — японские и татарские рожи на улицах)... Прошумел особенно Иерусалим... Всё лето на Вольнки фремела на дороге невидимая телега; стуки, искорки, топот босых ног и шёпот всё лето не давал спать нам в дому.

(...) Мы из Москвы спаслись бегством (и огромное спасибо Тебе!)\* буквально.

(...) Прибегаем в Брюссель и сваливаемся оба; у обоих жар 40°.  
(...) Я читаю Асе одну рукопись, говорящую близко к тому, что

\* Подразумевается денежная помощь Блока.

говорит Штейнер. Оба засыпаем — оба видим один сон: зала, по зале проходит Штейнер, окружённый толпою; у Штейнера другое, не штейнеровское лицо; вот что мы видели оба; я более детально не видел; Ася видела всё подробнее. Она видела, что Штейнер не Штейнер, а какой-то другой с островыраженными чертами лица; через мгновение лицо его сменилось другим лицом, а голос сказал: «Что Вы все ищете Штейнера, когда он тут». Это тут звучало, как: «Тут — в Брюсселе»... Когда мы проснулись и пересказали друг другу сны, то мы не удивились: общие сны уже не раз встречались у нас. ... Этот сон был в первые дни русской Пасхи. В эти дни (по письмам из Москвы я узнал впоследствии) в Гельсингфорсе двое из наших встречали со Штейнером русскую Пасху, разговаривали вместе (в Гельсингфорсе были лекции Штейнера\*); в эти дни тайно от немцев (чтобы их не обидеть) Штейнер говорил долго о значеньях и судьбах России кучечке русских, приехавших к нему из Москвы; о содержании лекции писали мне, что его передать невозможно, что «будущего России нельзя ждать, что это чудо, можно лишь его призвать». И вот ещё его слова: «Она (Россия) так долго плакала детскими слезами, и ещё ей предстоит этими слезами столько же проплакать».

... Однажды Ася возвращается от учителя своего, Данса, и говорит мне, что в трамвай (по дороге к Дансу) к ней вошёл человек с изумительно-напряженным и как будто знакомым лицом, где-то виденным, и упорно всю дорогу особенно смотрел на неё; что острота его взгляда наполнила весь трамвай совершенно особым напряжением; когда он вышел из трамвая, то повернулся и смотрел на неё всё время, пока трамвай уходил, точно ждал, что и она за ним выйдет; Ася сказала, что было мгновение, когда она чуть не заговорила с незнакомцем (незнакомцу было лет пятьдесят). В этот вечер было столь сильное, напряженное чувство ожидания; и прошла светлая радость; и было вновь:

*Лишь забудешься днём, иль проснёшься в полночи,  
Кто-то здесь: мы — втроём.\*\**

\* Штейнер читал курс лекций «Духовные существа в небесных телах и царствах природы».

\*\* Измененный текст стихотворения Владимира Соловьёва.

*Это было в четверг. Четверги для меня звучат по-особенному. С 1910 года (не могу сказать, почему). И потом четверг наиболее благодатный день — день сафира и планеты Юпитера.*

*Ровно через неделю, опять в четверг, мы оба ехали к Дансу обедать (трамвай пересекает весь город и углубляется в пригород). Посередине дороги в трамвай входит человек лет пятидесяти — я увидел лишь его огромные, нестерпимо сверкавшие глаза, властный вид, огромный рост и седую голову (он был бритый), и точно электричество прошло по телу. Смотрю на Асю и вижу, что и она видит, и что она, как я. Господин сел против нас и до неловкости всё время не спускал глаз с меня и с Аси. Через пять минут он вышел, и мы видели, как ключом он открывал дверь своего дома, при этом он оглянулся на нас и словно приглашал нас в дом; номер дома нам бросился в глаза: 79-ый. Я сказал Асе только: «Было? Да? Она ответила: «Да-да». Но господин этот был другой, не тот, которого видела Ася, но того же типа, того особого выражения; опять Асе показалось, что она его видела. Вечером этого дня, четверга, опять было какое-то ожидание; и прошла светлая радость и было вновь:*

*Лишь забудешься сном...*

*В эти минуты Ася вдруг вскрикнула: «вспомнила. Эти два лица я видела во сне: они мне подставлялись вместо Штейнера и о них голос сказал: «Что вы все ищете Штейнера, когда он тут (т.е. в Брюсселе)». Замечательно то, что второй господин сошёл с того места, где четвергом ранее вошёл первый...»*

*(...) Вдруг получаю два письма: 1) От Эллиса из Берлина, 2) от Петровского. Эллис — медик — пишет мне почему-то: «Твой час пробил (до этого 4 месяца мы не переписывались). Петровский сообщает ряд адресов штейнеровских штабов, разбросанных по разным городам Германии, и пишет, между прочим..., что 6, 7 и 8 мая Штейнер в Кёльне, и сообщает адрес лица, могущего указать на место Кёльнской ложи».*

## 4

### На строительстве первого Гетеанума «Вахтёр Бугаев»

*Помню: перламутровые травы,  
Купол ясноглавый, величавый,  
Розовые воздушы Эльзаса,  
Пушечные взрывы... из Эльзаса,*

*Лёгкие, лепечущие ивы,  
Тёмные, гребенчатые горы,  
Синие, огромные разрывы  
В синие огромные просторы.*

Всего с 1912 по 1916-й год Белым и Тургеневой прослушано было 400 лекций Учителя. Ещё стали они впервые зрителями мистерий с танцами, эвритмией — ритуалами, входившими в систему ступеней посвящения для становления самосознающей души. Эвритмия, согласно Штейнеру, это не просто танец, а «видимая речь», движение, выражающее внутренние звуки во внешнем мире. В одном из писем в Москву своему другу Маргарите Морозовой, члену философско-религиозного общества (письма которой Белый зачастую подписывал «Ваш рыцарь»), он сообщал о Штейнере: «Он для меня — «Путь утверждения «Истины»\*. Розенкрейцеровский путь, проповедуемый Штейнером, есть воистину путь чистого христианства... Последняя лекция курса Доктора «Евангелие от Марка» была уже не лекцией, зал буквально просиял от ауры Доктора, все сидели очарованные; когда Доктор ушёл с кафедры, то около 600 человек оставалось сидеть, никто не двинулся, никто не нарушил *странной тишины* и какого-то

\* Парафраза названия главного труда П. А. Флоренского «Столп утверждения истины».

невидимого Присутствия в зале...». (Аура, согласно антропософскому учению, — мистическое излучение, исходящее от человека).

Ещё до встречи со Штейнером в предисловии к сборнику «Урна» Белый, изъясняясь вполне в духе ритуальных средневековых тайных союзов, писал: «Лазурь — символ высоких посвящений, золотой треугольник — атрибут Хирама, строителя Соломонова Храма. Что такое лазурь и что такое золото? Это ответят розенкрейцеры. Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасти того, кто его так постигает, минуя путь: мир сгорает, рассыпаясь. Пеплом, вместе с ним сгорает постигающий, чтобы восстать из мёртвых для деятельного пути».

Рудольф Штейнер вполне отвечал поискам Белого его самосознания и самоопределения. За несколько месяцев до знакомства молодоженами были прочитаны книги Штейнера «Христианство как мистический факт» и «Как достичь познаний высших миров». Очевидно, что Андрей Белый часто ссылается на розенкрейцеров, (*«розенкрейцеровский путь, проповедуемый Штейнером»*), страстно увлечен ими, так же, как и его друг Александр Блок, автор известной поэмы «Роза и крест», и так же, как его другой друг Эллис, написавший книгу о мистическом значении святого Грааля, опубликовавший в «Мусагете» книгу «Арго».

---

Рудольф Штейнер родился в 1861 году в Австро-Венгрии в местечке Кральевич (ныне Хорватия) в семье телеграфиста-железнодорожника. Обучался в реальном училище и в 1883 году закончил Венский политехнический институт. Ознакомившись в 1877 году с «Критикой чистого разума» И. Канта, Штейнер всерьёз увлекся философией и в течение пятнадцати лет участвовал в издании натурфилософских трудов Гёте со своими комментариями. В 1891 году Штейнер защитил диссертацию по теории познания и получил степень доктора философии.

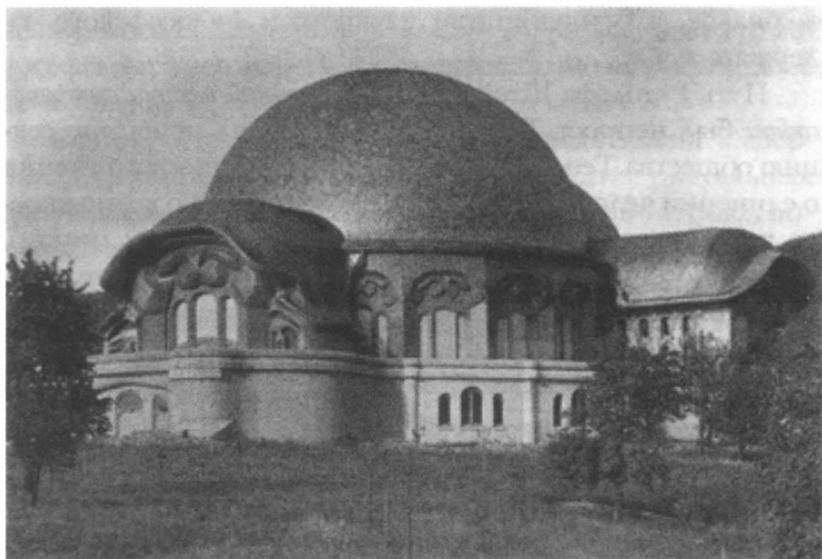
Штейнер с 1890 года работает в архиве Гёте и Шиллера в Веймаре. В Вене и Берлине он сотрудничал в редакциях

журналов, публикуя статьи научного и философского содержания.

Путь Рудольфа Штейнера к *собственной теории антропософии* был непрост. Вначале он возглавлял немецкую секцию общества Теософии (религиозно-мистического учения о единении человеческой души с божеством и о возможности непосредственного общения с погусторонним миром), основанного в 1875 году в Нью-Йорке русской писательницей Е. Блаватской и американцем Г. Олкоттом. С 1907 года между Штейнером и лидерами теософского движения стали возникать серьёзные разногласия по принципиальным вопросам. Дмитрий Таевский в книге «История религий» пишет, что основной причиной окончательного конфликта было провозглашение теософским обществом Кришнамурты новым мессией. Таевский ещё сообщил, что в 1906 году Штейнер был назначен Представителем Гроссмейстерского филиала Общества Восточных Тамплиеров, в котором состоял до 1914 года.

В 1913 году Штейнер создал в Берлине общество антропософии — учения о том, как освободить человеческое сознание, достигнуть познания высших духовных миров.

Биография Штейнера полна ошарашивающих фактов, вполне подтверждающих догадки Марины Цветаевой о нём — и о Максимилиане Волошине тоже! — считавшей, что нам, обыкновенным смертным, об этих пришельцах в принципе немного известно, что как человеческие личности оба — не тайна, а «самотайна», унесшие свои тайны в могилу. В очерке «Живое о живом», посвященном Максимилиану Волошину, Цветаева писала: «У него (У Волошина — М. П.) была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией — не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек — и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер — своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. — ни в стихах, ни в друзьях, — самотайна, унесённая каждым в землю».



Дорнах. Первый Гетеанум (антропософский храм), в строительстве которого принимали участие Андрей Белый с женой Асей Тургеневой, Максимилиан Волошин, Маргарита Сабашникова-Волошина, Эллис (Лев Кобылинский) и другие представители русской культуры.



Андрей Белый, 1918.



Андрей Белый и Ася Тургенева. Портрет работы М. Сабашниковой (Волошиной) Дорнах. 1916 год.

Андрей Белый в очерке «Почему я стал символистом...» сообщил, что сам Штейнер, основавший знаменитое Антропософское общество, членом этого общества не состоял(?). «Ведь он даже не был членом «А. о.» — заявляет Белый. Возможно, Белый ошибался, а возможно, и то, что Штейнер состоял членом *некоего другого общества*? Впрочем, Белый еще сообщил, что в 1925 году, перед смертью, Штейнер, председатель общества, вступил в его члены.

Между тем, внешние факты биографии ещё и таковы: в начале Первой мировой войны Штейнер объявил, что она развязана «тёмными силами», победить которые может только тевтонская культура, а немецкий народ выполняет высшую духовную миссию. Осенью 1919 года он создает на основе разработанной им педагогической методики в Штутгарте Свободную вальдорфскую школу для детей рабочих табачной фабрики.

Рудольф Штейнер написал около 60 книг, среди которых выделяются «Философия свободы» (1893), «Теософия» (1904), «Очерк тайноведения» (1910), «Мой жизненный путь» (1924). Им прочитано огромное количество лекций, из которых опубликовано примерно шесть тысяч.

Штейнер задумал создать центр антропософского общества и обратился к духовным и естественнонаучным идеям Гёте, которого назвал отцом новой эстетики, а новое сооружение, являвшееся её средоточием, — Гетеанумом. Первый Гетеанум — необычное для своего времени архитектурное сооружение — появился в Дорнахе недалеко от Базеля в 1915 году. Здание состояло из двух цилиндрических объёмов разного диаметра, перекрытых взаимопроникающими, взаимосвязанными одинаковыми куполами.

«С утра до вечера со стамесками в руках работаем над капителями и архитравом (Johannes bau — деревянный), — писал Белый Иванову-Разумнику 4 июня 1914 года, — здание ещё только вырисовывается, но — что за форма! Это действительно небывалый, воистину новый, воистину оригинальный стиль (не стиль модерн); если можно сравнить, так это с Софией (Константинополь)».

В 1922<sup>1</sup> году здание первого Гетеанума сгорело. Второй Гетеанум, одно из наиболее значительных железобетонных сооружений двадцатого века, создавался в 1925–1928 годах, и с 1993 года классифицируется швейцарскими властями как памятник архитектуры. Ансамбль создан по модели, сделанной Штейнером в марте 1924 года, однако самому Штейнеру не суждено было увидеть своё детище: он умер 30 марта 1925 года.

Почти вслед за немецким создано было русское антропософское общество в Москве, в том же тринадцатом году, а именно 20 сентября — в день положения краеугольного камня будущего антропософского храма Гетеанума в Дорнахе. Среди основателей русского общества были художницы Маргарита Сабашникова-Волошина и Ася Тургенева. А также: Андрей Белый и Борис Леман, актер Михаил Чехов, экономист Борис Грегоров, философ Алексей Петровский и другие. В Петербурге было организовано теософское общество, возглавляемое Анной Алексеевной Каминской, которое с разрешения Штейнера вскоре также стало называться антропософским.

---

С осени 1913 года Андрей Белый принял окончательное решение связать свою судьбу с антропософией, весной вошёл в эзотерический круг учеников Штейнера, затем записался в число тех, кто собирался строить Гетеанум в деревне Дорнах в Швейцарии. И, наконец, в 1914 году Белый с Тургеновой (Тургенева, как оказалось, навсегда) покинули Россию и поселились в Дорнахе, уже ставшем центром антропософии и претендовавшем на звание духовной столицы Европы. Тогда же вступили в официальный гражданский брак, который был зарегистрирован в Берне. Штейнер также узаконил свой брак со своим секретарем, по сути дела вторым руководителем Антропософского общества, Мари-ей фон Сиверс, дочь руского генерала фон Сиверса.

Белый (и Тургенева) посещал эзотерическую школу, руководимую Штейнером, и там он получил непосредственно от Штейнера рекомендации по дыхательным

упражнениям, тренировке памяти, воли и сверхчувственных способностей. Белый усвоил у Штейнера, что, кроме физического тела, существует у человека эфирное и астральное тело. «...Всякая жизнь эфирно началась на Сатурне, — сообщал Белый из Дорнаха, — продолжалась на Солнце, астрально шла на Луне, пока физически не проявилась на Земле, но теперь в истории Земли пробил час, когда мы возвращаемся. И линия прохождения жизни сквозь все миры круто меняется вверх».

Он, согласно воспоминаниям и письмам, научился ощущать своё астральное тело, выходить из физического тела и проникать в мир духовных существ. Различные воспоминания Белого, а у него их очень много — от дневниковых записей, писем и до «Воспоминаний о Рудольфе Штейнере» (1928 год) — местами вполне напоминают видения доктора Джона Дии, астролога английской королевы Елизаветы, записанные им в его «Иероглифической монаде», а также фантастические события-видения из романа Майринка о Джоне Дии «Ангел западного окна». Так, например, в ноябре 1582 во время вечерней молитвы Джону Дии явилось в окне «во всём величии» некое существо, окруженное сиянием, — ребёнок, которого астролог впоследствии называл ангелом Уриэлем\*.

Белый излагал Штейнеру свои видения в рисунках (рисунки из архива Штейнера в Дорнахе сохранились и демонстрировались в московской Мемориальной квартире Андрея Белого в октябре 2005 года), свидетельствовавших о том, что он видел ангелов и архангелов. Бытует мнение, будто Белый предпочёл рисование беседе со Штейнером из-за плохого знания немецкого, вероятно, на основании его личного свидетельства: «В немецком языке я косноязычен до ужаса». На самом деле он хорошо изъяснялся по-немецки (у него была в детстве немецкая гувернантка), читал в подлиннике немецких философов, регулярно слушал лекции Штейнера.

\* Я рассказала, по-возможности, о видениях астролога Джона Дии в мистическом романе о тайных обществах «Синдром Килиманджаро» (2008).

По всей видимости, ему не нравилось, что на немецком языке он не может излагать свои оригинальные мысли так же изысканно и образно, как на русском. Белый рисовал, как он сам выразился, «копии с духовно узренного»: жизнь ангельских иерархий на Луне, Солнце, Сатурне, небесные иерархии, неземные ландшафты. На одном из его рисунков запечатлен новорожденный младенец, окружённый ангелами. Мистический опыт Белого подменялся оккультным, что входило в программу посвящения в антропософию.

В стихотворении «Воспоминание», написанном в Дорнахе в 1914 году, Белый рассказывает о видениях:

Мы — ослеплённые, пока в душе не вскроем  
Иных миров знакомое зерно.  
В моей груди отражено оно.  
И вот — оно загло знакомым, грозным зноем.  
  
И вспыхнула и осветилась мгла.  
Всё вспомнилось — не поднялось вопроса:  
В какие-то кипящие колеса  
Душа моя, расплавясь протекла.

По мере всё более глубокого погружения в антропософию, отношения с Тургеневою, страстно преданной новому учению и Штейнеру, осложнялись, следуя пушкинскому изречению в «Пиковой даме»: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место». Ещё в 1913 году Белый писал («Материал к биографии»): «Ася объявляет мне, что трудно быть мне женой, что мы отныне будем жить братом и сестрой». В ноябре того же года Белый записывает: «Ася объявляет мне, чтобы мы не говорили друг с другом на темы наших путей, я ощущаю, что в точке священной Ася покидает меня, отъединяется, ускользает». Он пишет, что с ужасом замечает полное отрешение жены от всего земного, «...как жена Твоя, превращенная почти в работницу, стучит молотком по тяжёлому дереву (такова её охота!)».\*

\* Из письма Белого Блоку 23 июня 1916 года.

Очевидно, что настроение Белого резко меняется к худшему. У него возникают эротические видения, он притязает на интимные отношения с сестрой Аси, Наташей Поццо, открыто рассказывает о своих страданиях и эротических видениях Асе, *уже теперь* подготавливая будущий роковой разрыв. Впоследствии (в начале лета 1922 года) в письме к поэту Александру Кусикову, Ася пыталась объяснить причину разрыва, явно намекая на то, что глубоко каким-то образом была травмирована Белым: «Ты спрашивал, люблю ли я Андрея Белого. Как ребёнка, который потерялся и плачет, — душа разрывается от жалости. И то, что мы с ним столько прекрасного вместе прожили. И то, что он не выдержал и отшатнулся — если не в основном, то всё же в очень большой доле своей души, — этого я не могла ему простить. Но я сама поставила его в такие трудные условия. Ломаясь, он и меня надломил. Малейшее мужское в нём ко мне во мне вызывает негодование, чтобы не сказать больше. Жить с ним — было бы для меня невыносимо»\*.

Белый, между тем, завершил в Дорнахе свой великолепный роман «Петербург», где «петербургский период» русской истории осмыслен в контексте судеб мира, в том числе и древних восточных цивилизаций. Публикация «Петербурга» в 1914 году принесла писателю всемирную известность как постреалистическому новатору в прозе. Он едва ли не первый в мире (как уже отмечалось в предисловии) создал ритмизованный прозаический текст, предвещающий опыты Д. Джойса и О. Хаксли. Он также написал философское исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрениях современников».

Писатель ещё в Дорнахе задумал роман «Котик Летаев», в котором опишет ощущения ребёнка, вступающего в мир. Антропософы со странным равнодушием отнеслись к литературным успехам Белого и впоследствии, вдобавок ко всему остальному, недооценка Дорнахом его литературных заслуг станет одной из причин разрыва с Антропософским обществом. В обязанности Белого входило быть ночным

\* Андрей Белый. Материал к биографии (интимный), № 6. М., 1992.

сторожем, — его и называли «вахтёр Бугаев». «Мне и нашли точку приложения сил — ночную вахту при «Гетеануме». Факт необъяснимый и, говоря откровенно, недопустимый, — тем более, что за период четырёх лет моего сидения с «докторами», доктора кричали с восторгом, что к антропософии примкнули такие знаменитости, как французский писатель Леви и как немецкий писатель Дейнхарт (кто, признайтесь, знает, кроме антропософов, сих «знаменитостей») («Почему я стал символистом...»).

---

Тогда ещё в Дорнахе в поисках альтернативного стиля жизни объявился доктор философии и юридических наук Генрих Геш\* — один из самых одаренных интеллектуалов начала 20-го века, из тех, кого называют «бесплодными гениями». Геш посетил уже одну модную международную колонию — Monte Verita (Монте Верита) в Асконе (южная Швейцария), «где бок о бок жили... утописты и идеалисты: сторонники жизни на свежем воздухе, солнцепоклонники, гомеопаты, вегетарианцы, теософы, розенкрейцеры, спириты, пацифисты, социалисты и приверженцы свободного танца». \*\* В антропософии Штейнера Геша привлекло совмещение философии Канта с верой в реинкарнацию. Колония Штейнера вначале казалась любителю сильных ощущений новой Асконой, центром изучения нетрадиционных стилей жизни. Но вскоре Геш заподозрил Штейнера в колдовстве и прочей связи с нечистой силой, тем самым подтверждая возникшие у Белого сомнения, втайне уже посчитавшего Штейнера новым Клингзором — злым волшебником из «Парцифалья» Вагнера (как свидетельствует дневник Белого «Материал к биографии (Интимный)'). Геш незамедлительно передал Штейнеру письмо, в котором рассказал о своих подозрениях в причастности Учителя к чёрной магии, о

\* Сведения о Генрихе Геше получены мною из статьи Магнуса Юнггрена «Генрих Геш: эпизод из жизни Андрея Белого», опубликованной в НЛО, 2000, №43.

\*\* Юнгрен Магнус. Там же.

том, как властной рукой контролирует он и подавляет новых учеников. Штейнер ответил на письмо серией лекций, в которых, подозревая фрейдистскую основу заявлений Геша, обвинял опасного материалиста Фрейда.

Примечательно, что сам Геш в своих поисках абсолютной свободы впоследствии примкнул к нацистам — такова ирония неистовых поисков раскрепощения личности, таковы «повороты» многих утопий тревожных десятых — двадцатых годов, приводивших к увлечению запредельным мистическим миром, а иной раз — к коммунизму или нацизму. Белый при возвращении в Россию не станет коммунистом, хотя в дни революции 1905 года основательно и с интересом ознакомился с «Капиталом» Маркса и назвал себя «социалсимволистом». К тому же он в 1918 году напишет поэму «Христос воскрес», идейно созвучную «Двенадцати» Блока.

---

Между тем, в 1915 поэт и писатель, оторванный от литературной среды, страдал от одиночества. К тому же, разразившаяся Первая мировая война создала атмосферу враждебности и шовинизма в среде антропософов. Над созданием «Иоаннова здания» трудились представители девятнадцати стран, в том числе и воюющих между собой. В Дорнахе была слышна канонада сражений, происходивших в Эльзасе.

Белый в письме к Блоку (23 июня 1916 года) описывает своё состояние в последний год пребывания в Дорнахе: «И вот мне открылась картина этой зимы: воеет ветер, в оконные стекла бьёт жалкая изморозь; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек. Ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально из «кантины» (т.е. дощатого барака, где мы пьем кофе в 5 часов после работы): из-за загородки перекрёстных «злых», «ведьмовских» взглядов, опорочивающих Тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы Тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда как *русского*, к которому с симпатией относится доктор...»

В середине августа 1916 года Белый покидает Швейцарию, ещё не зная, что покидает её навсегда, не подозревая также, что покидает навсегда и свою жену Асю Тургеневу. Причина отъезда была вполне реальная: Белый (и Блок тоже) принадлежал к ратникам I и II разряда, призывавшимся на военную службу летом 1916 года (впоследствии как единственный сын он получил отсрочку), а Тургенева категорически отказалась следовать за ним. Белый добрался в Россию через Париж, Лондон, Норвегию. А затем, что называется, «сгинул» — втянут был в чёрную дыру — во мраке тогдашней России.

При прощании он написал стихотворение:

Асе

(При прощании с ней)

Лазурь бледна: глядятся в тень  
Громадин каменные лики:  
Из тёмной ночи в белый день  
Сверкнул стремительные пики.

За часом час, за днями день  
Соединяют нас навеки:  
Блестят очей твоих огни  
В полуопущенные веки.

Последний, верный, вечный друг, —  
Не осуди моё молчанье;  
В нём — грусть: стыдливый в нём испуг,  
Любви невыразимой знанье.

Август, 1916, Дорнах.

Уезжая из Дорнаха, Белый оставил архив: книги с дарственными надписями Рудольфу Штейнеру и его жене Марии Штейнер, рукописи, письма, фотографии и рисунки, сделанные им с 1912-го по 1916-й год. Всё это впоследствии стало достоянием архива «Наследие Рудольфа Штейнера» (Rudolf Steiner — Nachlassverwaltung) и находится поныне

в Дорнахе. «Из-за условий его жизни, — вспоминает Тургенева, — переписка с ним вскоре прекратилась. Лишь после почти семилетнего молчания из Ковно пришло известие, что он едет в Дорнах, посмотреть, как мы живём. «Бугаев болен, — сказал мне Рудольф Штейнер по поводу этого письма. — Я рад был бы пригласить его сюда, но это не пойдёт ему на пользу. Мы тут живём на пороховой бочке (это было за несколько месяцев до пожара в Гетеануме. — А. Т.). Постарайтесь отговорить его, я сделаю, что смогу, чтобы облегчить ему въезд в Германию». По недоразумению, эти слова дошли до Бугаева, — в нервном его возбуждении он нашел их оскорбительными. Штейнер, видя состояние, в котором он находился, отложил разговор с ним до встречи в Штутгарте»\*. (Известно письмо Белого из Ковно (Каунас), где он рассказывает о пережитых в России голоде, холоде и перенесённых болезнях, которое он не отправил Асе Тургеневой. Письмо обнаружил Ходасевич в бумагах Белого, оставленных им перед бегством в Россию).

*ЭКСКУРС: «Вахтёр Бугаев» (Из очерка «Почему я стал символом...»):*

*Стадия перерождения моего «темплиерства» в грубое «вахтёрство», окончившееся внутренним отказом от него, происходила в Дорнахе в трудные зимы 1914—1916 годов; и по мере того, как утончённость подхода к делу служения культуре «Гетеанума» огрубевала в роптание «вахтёра» на свою пустую повинность (охранять то, что подвержено гибели), линии моего лица для иных антропософских друзей естественно перерождалась: исчезал парсифизированный «сверх-идиот» и его тень, «тёмная личность»; и выяснился мозолистый «вахтёр» Бугаев, принятый честно другими «вахтёрами», товарищами по работе, честными ребятами, каких, слава Богу, встретишь в любой артели; этим кругом и замкнулся дорнахский быт.*

*Но когда уехавший «вахтёр» в России был встречен «писателем», то уже, разумеется, «вахтёр» не мог вернуться в братские объятия общества, ибо он всё же был больше «Андреем*

\* Встреча в Штутгарте состоялась 30 ноября 1923 года.

Бельям», чем «вахтёром» среди возможных модификаций индивидуума «Я».

«Вахтёр» был нужен писателю «Белому», а «писатель» — кому из дорнахцев он был нужен?

Этим определилась фаза моей антропософии в эпоху от 1916 до 1921 года.

Да, забыл сказать: вне «вахтёрских», всем видных в Дорнахе обязанностей, я выполнил одну обязанность, никому в Дорнахе не ставшую известной, ибо «вахтёры» книг не пишут: я написал объемистую книгу «Рудольф Штейнер и Гёте», в которой разбил нападение Метнера на доктора Штейнера; и в отражении нападения попутно поставил знак равенства между бывлою статистикой «Эмблематики» и ею же взятой в диалектической динамике Штейнера; высоким удовлетворением мне служит одобрение моей мысли со стороны Штейнера, которому я устно-ространно излагал позицию книги и который лично ознакомился с несколькими главами работы; ему их дословно переводили; две фразы меня успокаивают, когда я вспоминаю возражение на эту книгу со стороны руководителей Петербургского кружка антропософов: «Ваша световая теория хороша»; «Вы написали прекрасную книгу».

В этих фразах — награда мне за усилия: понять бывшую линию мысли в фазах линии мыслей, посещавших в Дорнахе, где эта линия прошла, разумеется, катакомбно, так, как имел её «вахтёр», а «вахтёры» — не мыслят; когда уже гораздо позднее на эти темы написал Штейн, общество толковало на тему книги Штейна. Когда писал «вахтёр», то линия его мыслей не могла обнаружить себя никак: также не могли обнаружить себя и линии мыслей до и после написания «оккультной» книги — «оккультной» не потому, что она трактует «оккультизм», а «оккультной» потому, что её написал «вахтёр».

Часть вторая

Foxtrot

Белого рыцаря



*Для меня возникают вопросы: неужели же прямые наследники великой немецкой культуры — музыки, поэзии, мысли, науки теперь отложились от неё, одушевляемы не зовами Фихте, Гегеля, Гёте, Бетховена, а призывами фокстрота.*

# 1

## Нашествие фокстрота

— *«Да, но общество не знает, в чём сила крамолы».*

— *«А по-вашему?»*

— *«Сила крамолы — в Чарльстоне...»*

— *«Почему же в Чарльстоне?»*

— *«Потому что там проживает глава всей крамолы».*

Посещение ресторанов и, прежде всего, кафе составляло неотъемлемую часть берлинской жизни. «На всех главных улицах города есть кафе на Венский манер, — сообщал русский путеводитель Грибенса за 1923 год. — В них после обеда, а также вечером после закрытия театров, вечеров, балов и т. д. очень оживленно, здесь собирается даже лучшее общество».\* Не менее популярными были всевозможные пивные, такие, как «Зихен» («Дворец пива. Нюрнбергское пиво. Вечером часто переполнено»), ликёрные, винные погреба, «известные своим здоровым юмором» кабаки для публики попроще, а также так называемые «дилен» — нечто среднее между кафе и баром. Примечательно, что в 1925 году Илья Эренбург, находясь в Париже, написал книгу с характерным названием «Условный рефлекс кафе», состоящую из одиннадцати рассказов о всевозможных кафе разных стран Европы. Книга вышла под названием «Условные страдания завсегдатая кафе». Ходасевич в стихотворении «Берлинское» писал:

Что ж? От озноба и простуды —  
Горячий грог или коньяк.  
Здесь музыка, и звон посуды,  
И лиловатый полумрак.

\* Берлин и его окрестности. Путеводитель Грибенса, 1923.

В двадцатые годы Берлин уступал в Западной Европе разве что Парижу по количеству русских питейных заведений. Среди них особую известность приобрели рестораны национальной кухни «Русский уголок» и «Ванька-встанька», ресторан-кабаре «Литл-Буфф», русский бар «Эрмитаж» и пивная «Медведь». «Все русские рестораны очень популярны, благодаря превосходной кухне и хорошему исполнению подвигающихся там артистов», — говорилось в путеводителе. У русской интеллигенции в Берлине, кроме упомянутого выше «Прагердиле», было ещё несколько излюбленных кафе. Это литературные кафе «Ландграф», «Леон» и «Флора Диле».

Литературные кафе — ещё и свидетельство ностальгии: в начале двадцатого века среди петербургской и московской художественной интеллигенции значительную роль играли ставшие своеобразными клубами столичные кафе и рестораны с бесконечными дискуссиями об искусстве, где читались стихи, а иногда устраивались театральные представления.

В Петербурге такими «клубами» были кафе «Бродячая собака», разместившееся в подвале дома на Михайловской площади, и ресторан «Капернаум» на Владимирском проспекте в доме 7. Самой большой популярностью у литераторов пользовался ресторан «Вена» на Малой Морской. Литературные и живописные экспромты в изобилии украшали стены ресторана. Современник объяснял факт подобных клубов следующим образом:

*«Литератор русский не чиновник из пробирной палатки, которому ресторан нужен исключительно для обеда... не купец, для которого в ресторанах требуется семь чайников чаю... Русскому литератору нужно место, где бы он мог, помимо обеда, повидаться со своими, потолковать, посмеяться, прочесть свои стихи».\**

Эмигранты-берлинцы сообщили, что Белый непрестанно, примерно с середины 1922 года чуть ли не ежевечерне танцевал именно в немецких Dielen, и подобными «плясками» — чаще всего это был модный фокстрот — совершенно себя компрометировал. Собственно говоря, писатель не

\* Десятилетие ресторана Вена. С.Пб, 1913.

был исключением в непрерывном посещении берлинских «дилен», однако он посещал заведомо сомнительные «пивнушки», где, по его выражению, «верха утопленной культуры ютятся в сомнительных, грязных низах одуроченной, сумасшедшей, проплёванной жизни». Он как будто бы специально выбирал заведения, какие похуже будут, чтобы (по Достоевскому) «тошнее было», чтобы довести до предела своё отчаяние, вызванное бесповоротным разрывом с Асей и Антропософским обществом.

Александр Бахрах вспоминал: «Не надо, конечно, предполагать, что кабачки, которые посещал Белый, были какими-то «шикарными» учреждениями для туристов или спекулянтов, на берлинском жаргоне «для шиберов», или хотя бы чем-то напоминали то «совсем петербургское место», которое посещал Аблеухов. Нет, это были скромные, закоптелые пивнушки, порой заводившие пиликающий оркестр или граммофон, куда по вечерам «бюргеры» ходили выпить кружку пива или «шнапс» и при случае завести знакомство с продавщицей из какого-нибудь «гума» или домашней работницей».

---

В переводе с английского: fox — лиса, trot — рысь, быстрый шаг (по другой версии — от Гарри Фокса, одного из первых исполнителей танца). Фокстрот означает свободный в композиции парный танец, возникший в США во время Первой мировой войны в пригороде Нью-Йорка, и вначале исполнявшийся танцорами африканского происхождения. Новый танец дебютировал в Американском мюзик-холле, после чего стал популярным в танцевальных залах. В связи с тем, что многие оркестры исполняли медленный фокстрот слишком быстро, чем вызвали недовольство некоторых танцующих, образовалось два различных танца, медленный фокстрот и квикстеп, ускоренная версия фокстрота, исполняемого в темпе 48-52 такта в минуту. Объявился ещё и чарльстон, привезенный с острова Кабо-Верде (там находится порт Чарльстон, в котором тёмнокожие докеры танцевали энергичный круговой танец). Популярность в

Европе к чарльстону пришла благодаря «чёрной Венере», американского происхождения танцовщице, певице и актрисе кинематографа Жозефине Бэйкер. Документальный кинематограф запечатлел умопомрачительные танцы — в ритме 200-240 ударов в минуту с размахиваниями руками и ногами — этой феноменальной женщины.

Модный шимми — также афроамериканского происхождения: рабы из Африки привезли нигерийский танец «Шика», ставший в 1922 году национальным безумием в Америке. Фокстрот, а также чарльстон, квикстеп и шимми, проникшие в Европу, всего более внедрились в Германии.

Поэт и переводчик Валентин Парнах, выступавший на сценах Парижа, Рима, Севильи и Берлина (а затем и в России) с модными тогда танцами, зафиксировал «историческую» неизбежность их появления: «Траншейная война, обрекающая миллионы тел на длительную неподвижность, способствовала явлению, которое охватило всю Европу после перемирия, прерывистая, быстрая, лёгкая походка англичан и американцев, короткие отталкивания рычагов, подрагивания и синтетические движения частей машин, наконец, древняя культура ритма и слуха американских негров и индейцев создали необходимые нашему веку танцы, теперь ордой, завладевшие Америкой и Европой».

Сам Парнах изобрёл несколько новых движений, в том числе паданье на пол, и сочинил хвалебную песнь своим танцам:

Свой дух подъяв,  
остервенеv,  
Я грохнусь среди танца  
О пол.

Я стройно рёбрами  
затопал...  
Я вскидываюсь! И стремя  
форм нерешенные  
задачи,  
Являю новизну фигур.  
Рванусь. Полстепа. Систр.

Лежачий.  
Взрывая ноты, побегу.  
Разряд.  
Движенье  
я исторг.  
О полнота! Ладонь  
Болит.  
Бьёт угол из груди. Восторг  
Острой зачатий  
И молитв.

1 июня 1922 года Парнах выступил на памятном литературном вечере в берлинском Доме искусств (там же, как уже говорилось, отличились речами Алексей Толстой и Александр Кусиков) со своими танцами, о чём было сообщено в фельстоне «Берлинские впечатления Пьер-О»: «После черкеса вышел на эстраду режиссер Кроль и заявил, что поэт Парнах будет демонстрировать «искания новых движений в области движений». Вышло существо, о котором словами Щедрина можно было бы сказать: «Одна ноздря, а спины даже нет», и начало корчиться в предсмертных судорогах...»\*

---

Между тем, голодный Берлин, уставший от «траншейной войны», отчаянно веселился, словно то был «пир во время чумы». В основном, веселье выражалось в бесконечных танцах в кафе, ресторанах, танцевальных залах. Такой фантазмагорический беснующийся Берлин двадцатых годов, словно глотнувший веселящего газа накануне прихода к власти нацизма, великолепно показал Ингмар Бергман в фильме 1977 года «Змеиное яйцо». Бергман представил незабываемую сцену с танцевальным залом, заснятым сверху. В зале отсутствует какая бы то ни было мебель, вовсе нет столов и стульев; не нужны они, ибо незачем сидеть —

\* Цитируется по «Зеркало Загадок». Берлинский культурно-политический журнал. Берлин, 1999, 8.

только танцы составляют суть жизни. Зал сверху кажется прямоугольным, скорее, широким коридором, усыпанным, как цветами, головами женщин в вечерних платьях, волосы которых разукрашены во все цвета радуги — от фиолетового до зелёного. И все — пляшут, подпрыгивая.

Это и есть Берлин двадцатых годов — столица страны, проигравшей войну. Наиболее интересны воспоминания Эренбурга об этом периоде. Эренбург — «берлинский современник» Белого, ставший именно в столице Германии одним из самых известных и плодовитых беллетристов. Сам он полагал, что стал профессиональным писателем после написания романа «Похождения Хулио Хуренито», опубликованного в 1922 году берлинским издательством «Геликон».

Весной 1922 года в Берлине вышел в свет выпускаемый Эренбургом и Эль Лисицким первый номер журнала «Вещь», претендующий на роль трибуны мирового авангарда. В первом номере на первой же странице было опубликовано открытое письмо Виктора Шкловского основателю русского структурализма Роману Якобсону с предложением вернуться в советскую Россию: «Возвращайся. Ты увидишь, сколько сделали мы все вместе... Мы поставим тебе печку. Возвращайся. Настало новое время, и каждый должен хорошо обрабатывать свой сад». Журнал предполагалось распространять в советской России, но уже его третий номер был там запрещён, несмотря на его жаркие провокационные призывы вернуться в Россию на погибель в другого рода печку; и журнал прекратил своё существование, поскольку всё же вёл непоследовательную агитацию, ибо желаниям и логике капризной новой власти трудно было следовать, трудно было уловить её сложную, рафинированную мысль, о том, кто друг, а кто враг, и редакции то и дело уклонялись то влево, то вправо, становясь, таким образом, уклонистами, ибо, как выразился Эренбург, «не все кости были брошены», «туман еще клубился». Сам Эренбург публиковал в журнале «Новая русская книга» рецензии на стихи Есенина, Мандельштама, Полонской, Одоевцевой и Цветаевой. Несомненно, что такая «толерантная» литературная

деятельность Эренбурга способствовала его авторитету среди молодых писателей.

Белый не раз встречался с Эренбургом на собраниях, в редакциях и в кафе Прагердиле (Эренбург в Прагерпансионе снимал квартиру, в которой вначале поселил Цветаеву с дочерью Алей), где у Эренбурга был свой «штаммтиш», но сближения не произошло. «Люди, годы, жизнь» — одна из последних крупных работ Эренбурга, вышедшая впервые в 1962 году — в год легендарной хрущевской «оттепели», — выдающееся произведение мемуарного жанра двадцатого века. В отличие от многих мемуаристов-эмигрантов, рассказывающих в основном о *русском Берлине*, он, так же, как и Белый, повествует о жизни города не как сторонний наблюдатель; для писателя немцы — не призрачная нация, среди которых эмигрантам приходилось «физически существовать».

---

Эренбург представляет читателю отчаянные, не лишённые благородства, усилия *немецкого Берлина*, пытающегося прикрыть свои раны видимостью налаженной жизни: «Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожёнными огнёмётами, носили большие чёрные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже (...) В Берлине 1921 года всё казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории».

Схожие впечатления о Берлине создались у Нины Берберовой: «Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе, все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам, где днём чинно ходят в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом» («Курсив мой»).



Названия прилегающих к Виктория-Луиза-плац улиц. По этим улицам по ночам прогуливались Андрей Белый с Берберовой, Ходасевичем и Бахрахом. Фото Б. Антипова, 2008.



Курфюрстендамм и Кайзер Вильгельм Гедехтнискирхе, 1910-е годы.

Эренбург как бы вторит Берберовой: «Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...) ... Ллойд Джорж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннинга. Смертность на почве хронического недоедания возрастала...

Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг — «Закат западного мира...», в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, — если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада». Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В её школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских» («Люди, годы, жизнь»).

---

Интересно, что Белый, находящийся в состоянии стресса из-за своих личных дел, сразу приметил «больной» Берлин, страшные следы войны на нем. Опытный «писательский глаз» отметил все в шокирующих до парадоксальности деталях, а именно: кошмарный образ голодного инвалида — безногого и безрукого, однако щедро украшенного высшими наградами:

«Тауэнцинштрассе — широкая улица; посредине стремительно пролетают трамваи, автобусы, авто; у великолепнейших магазинов рядами расселись безногие и безрукие нищие, инвалиды кампании 1914–1918 годов, очень часто украшенные «железным крестом» или немецким «Георгием»; они протягивают свои обрубки прохожим, по преимуществу русским, речь которых пестрит именно русскими неологизмами вроде «abgemacht», «abgeschlossen».

Белый отметил фальшивую внешнюю благопристойность Берлина, за которой притаился хаос, не предвещающий ничего хорошего в ближайшем будущем, тот самый хаос, который превращает людей в чудовища, как это и показано у Ингмара Бергмана в «Змеином яйце». Опытным

пером автор «Петербурга» в очерках о Берлине мастерски описывает столицу немецкого государства, его неприглядные мрачные улицы, на которых вдруг возникают жуткие тени, брошенные в будущее — предзнаменование другой мировой войны — второй на счету у «века-убийцы» (выражение Горенштейна), или, как ещё раньше сказал Мандельштам, «века-волкодава»:

«Благополучный Берлин мне казался контрастом московского благополучия лиц и улиц, свой вид изменивших, являя всё тех же людей, те же формы, кафе, очень ведомые по прошлым приездам.

Но с первого месяца понял я: всё это — то, да не то; старый быт опрокинут, разбит, но разбит не по-нашему; он сохранился как внешность, но он разбит в немце; и часто с разбитием уклада того в самом немце, разбит средний немец в какой-то центральной точке жизни, откуда творил он когда-то на удивление мира культуру свою; той культуры в нём нет уже; повисает она на нём, как последняя донашиваемая одежда, которую пора сбросить, которую он не решается сбросить; уверенность современного немца не в нём, а в покрое костюма, в который зашит он; из-под покроя просунулись хаос растерянности, недоумение, испуг, незнание, что делать с собою; вид города — тоже покрой; под покроем смятение, заставляющее скосить око на Керзонов «Англия-де не допустит» (она — допустила) другим устремиться к востоку: «Russland поможет... Die gute Armee». Но с надеждой на gute Armee современный берлинский делец, пересекающий Leipziger-Straße с портфелем, с сигарой во рту, — соединяет бессмысленные мечтания о реванше. (...)  
Под пристойным покровом Берлина мне месяцами ощущалась перманентная еле заметная дрожь, заставляющая месяцами берлинца мучительно вздрагивать в ожидании мучительного удара; томление грозное без разрешения» («Одна из обитателей царства теней»).

---

По возвращении в Россию Белый изложил свои впечатления о Берлине в сборнике очерков «Одна из обитателей



Кафе «Steiner» на Мотцштрассе, 30. Фото Б. Антипова, 2008 год.



Реклама некоего мистического форума на балконе дома по Мотцштрассе, 30, где некогда антропософы собирались у Рудольфа Штейнера. Фото Б. Антипова, 2008 год.

царства теней» (1924), где назвал Берлин «буржуазным содомом», «кокаиновым» городом, местом «организованного безумия».

Большое внимание писатель уделил фокстроту — символу нового времени.

*ЭКСКУРС: Фокстрот в Берлине.*

*(По страницам книги «Одна из обитателей царства теней»):*

*«Фокстротопоклонники интересовали в Берлине меня; я разглядывал их, шествующих по Motzstrasse и по Tauentzienstrasse; бледные, худые юноши с гладко прилизанными проборами, в светлых смокингах и с особенным выражением сумасшедших, перед собой вытученных глаз; что-то строгое, болезненно строгое в их походке; точно они не идут, а несут перед собой реликвию какого-то священного культа; обращает внимание их танцующая походка с незаметным отскакиванием через два шага вбок; мне впоследствии лишь открылось: они — фокстротифруют», т. е. мысленно исполняют фокстрот; так советует им поступать их учителя танцев, ставшие воистину учителями жизни для известного круга берлинской молодежи, составляющей чёрный интернационал современной Европы; представителями этого интернационала, с «негроидами» в крови, со склонностями к дадаизму и с ритмом фокстрота в душе переполнен Берлин; тут и немцы, и венцы, чехословаки, шведы, выходцы из Польши, Китая, Царской России, Японии, Англии — бледные молодые спутницы их и: «бледные худощавые барышни с подведёнными глазами, с короткими волосами перекисиводородного цвета, дадаизированные, кокаинизированные, поклонницы модного в своё время мотива бостона, изображающего «грёзы огня». Те и другие переполняют кафе в часы пятичасового чая и маленькие «дилэ», напоминающие Индию и Цейлон пестрой растительностью шелков и огней; вот лилово-вишнёвое «дилэ», струящее в полусумерки свет кровавых огней: вот «дилэ» лазурно-лимонное; всюду томно рыдает «томбола», посредине — маленькое пространство; у стен столики; за столиками — парочки кокаинодадаизированных, утончённых мулаток, мулатов; в одном углу громыхает «джазбанд»; «джазбандист» же выкрикивает «бумбум» дадаизированные «скрабозности»; тогда молодые люди встанут; и со строгими лицами, сцепившись с*

девицами, начинают — о нет, не вертеться — а угловато, ритмически поворачиваться и ходить, не произнося ни одного слова; музыка — оборвалась; и всё с той же серьезностью занимают места; в промежутках между «фокстротами», «джимми» и «танго»; на маленьком пространстве между столиков появляется оголённая танцовщица — босоножка; так продолжается много часов подряд; так пляшут в энном количестве мест, в полусумеречных, тропических, маленьких «дилэ», так пляшут одновременно в энном количестве кафэ; градация бесконечно разнообразных плясулен — маленьких, огромных, средних, приличных, полуприличных, вполне неприличных — развертывается перед изумленным взором современного обозревателя ночной жизни Берлина: вплоть до огромных, битком набитых народных плясулен, все пляшут в Берлине: от миллиардеров до рабочих, от семидесятилетних стариков и старух до семилетних младенцев, от миллиардеров до нищих бродяг, от принцесс крови до проституток; вернее, не пляшут: священнейше ходят, через душу свою пропуская дичайшие негритянские ритмы: область распространения «канкана» в Европе расширилась; половина буржуазного Берлина с пятичасового чая и до закрытия ресторанов — «Канкан», негрский город».

## 2

### Берлинская легенда

*Меня влечёт теперь к иным темам: музыка «пути посвящения» сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джаз-банд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи.*

Слово «экспрессионизм» происходит от латинского *expressio*, что означает *выражение*. Экспрессионизм — это заострённое выражение авторской идеи, достигаемое путем всевозможных преувеличений и условностей, отчего такое искусство может казаться публичным и агитационным. Это направление отличается ощущением близившихся исторических переломов и катастроф и тяготеет к обострённой эмоциональности, фантастическому гротеску, разрушению традиционных норм стилистики и синтаксиса. Термин впервые употребил в 1911 году Х. Вальден — основатель экспрессионистского журнала «Штурм» («Der Sturm»), существовавшего до 1932 года. Германия, по сути, — родина экспрессионизма, расцветшего в особенности после Первой мировой войны. Представителями экспрессионизма были Ф. Верфель, И. Бехер, Л. Рубинер, А. Деблин, Г. Майринк и многие другие выдающиеся писатели и поэты Германии. Исследователь Н. Берковский\* (мой преподаватель) сделал

\* Наум Яковлевич Берковский (1901 – 1971) — литературовед, литературный и театральный критик, автор книг «Немецкий романтизм», «О мировом значении русской литературы», «О русской литературе», «Литература и театр» и многих других трудов. Этот выдающийся мыслитель отличался особым индивидуальным стилем устной и письменной речи. У него

следующее простое определение: «Экспрессионизм — искусство выдвинутых смыслов». На примере новеллы «Превращение» Франца Кафки, которого профессор называл «тихим экспрессионистом», он «наглядно» объяснил нам (студентам) суть этого направления в литературе.

В новелле «Превращение», говорил он, мотив животного существования приобретает неожиданный оборот. Герой повести Грегор Замза жил нечеловеческой жизнью. Он, будучи коммивояжером, вставал очень рано (поезд уходил в пять часов утра), ездил на службу — и это было всё, что составляло существо его жизни. Он вёл жизнь животного, а ещё точнее — насекомого, инсекта. Кафка доводит «животную» тему до логического конца. Однажды ненастным утром герой проснулся и обнаружил себя в образе страшного насекомого — «ungeheuren Ungeziefer». Какое это было насекомое неизвестно, однако *оно было преогромное*, поскольку не могло пролезть в дверь: «Но когда он, наконец, благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть». Георг Замза превратился в насекомое фактически — Кафка «выдвинул» замысел. Этот экспрессионистский приём производит ошеломляющее действие, тем более, что по мере прочтения новеллы выясняется, что у героя осталась лирическая, нежная, любящая душа.

---

Андрей Белый, чуткий и тонкий литератор, услышавший грохот («громыхание») войны за три года до её начала, слышавший, как растёт трава, приехавший в Германию в пору расцвета экспрессионизма, чутким ухом уловил и его атмосферу. Он в очерках о Берлине экспрессионизм поругивает, называя экстравагантным, приравнивает даже к дадаизму, который не что иное, как «реминисценция искусства

было своё собственное компетентное мнение о литературных течениях и его представителях. Так, например, Маяковского он считал экспрессионистом, Франца Кафку, соответственно, тоже, только, в отличие от Маяковского и многих других, «тихим экспрессионистом».

дикарей». В дадаизме и экспрессионизме, говорит Белый, отчетливо изживает себя современная умирающая культура буржуазной Германии.

Тем не менее писатель, следуя экспрессионистам (и самому себе!), *выдвинул* некий, ему одному понятный смысл, некую свою идею и при помощи модных импульсивных танцев устроил в Берлине «шоу» наяву. Автор, кажется, прежде сочинил сценарий, в котором оказался главным действующим лицом, но, как зачастую в таких случаях бывает, автор сочинения, разыгравший самого себя, свою душу, как сказал бы Берковский, свой НЗ (неприкосновенный запас), непременно становится жертвой самообмана, ибо трудно удержать границу, «зазор» между «сырым куском жизни» и искусством. Хотя на самом деле автор пьесы, задуманной как зрелище, ставил иную цель: *танец должен был явиться формой его протеста*. И чтобы все-все видели, ибо на миру и смерть красна.

А всё дело в том, что Ася Тургенева в начале двадцатых годов оказалась чуть ли не *ответственной* антропософской танцовщицей, в связи с чем Белый заключил, что антропософия и эвритмия отняли у него Асю. Белый писал матери 29 декабря 1921 года: «Представь: первый человек, которого я встретил в Берлине, была Ася; она с доктором проехала через Берлин в Христианию; и — обратно: давать эвритмические представления; мы провели с ней 4 дня; и на возвратном пути она осталась 4 дня в Берлине. В общем — не скажу, чтобы Ася порадовала меня; она превратилась в какую-то монашенку, не желающую ничего знать, кроме своих духовных исканий».

«Штаб эвритмии — Дорнах, — писал Белый в марте 1922 года Иванову-Разумнику, — «эвритмистки» (группа моей жены делает набеги на Европу)». Эта фраза — «группа моей жены делает набеги на Европу» замечательна своей образностью, меткостью и афористичностью, она, что называется, бьёт без промаха в цель. Белый в письме перечисляет умопомрачительные маршруты, совершаемые Тургеновой: «Дорнах — Штутгарт — Лейпциг — Берлин — Христиания; и обратно: Берлин, Гамбург, Ганновер, Штутгарт, Дорнах».



Берлин десятых годов прошлого века.

Белый называет города, в которых Ася провела танцевальные занятия в январе, и маршрут её опять же звучит фантастически в количественном отношении. И в самом деле, откуда столько сил и энергии, чтобы в одном только месяце протанцевать в Галле, Берлине, Бреславле, Праге, Мюнхене, Карлсруэ и Штутгарте?

Или (из другого письма): «... евритмическое искусство отняло у меня жену (это — факт)»; или: «... с оглядкой вылезая из «логова» моего погибающего «Я» — в райские луговины антропософии, на которой пляшут эвритмические спасительницы, забывшие для плясок мужей, детей, родину, т. е. всё то, что по чистому человеческому праведному инстинкту, мы называем правдою жизни» (письмо к Спасской 27 февраля 1922 года).

Таким образом, *свои собственные фокстроты в Берлине поэт объявил формой протеста «мистическим» телодвижениям жены*. Вызывающим, окарикатуренным фокстротом отреагировал писатель на свой конфликт с антропософским обществом и собственной женой Асей Тургеневой. Мы, в таком случае, в итоге получили «тройное наступление» Андрея Белого: «методом» течения в искусстве, окарикатуриванием его, — наступление на это течение; тем же методом — удар по отвернувшейся от него Асе, и тем же методом — по эвритмии, обязательной принадлежности антропософии.

«И после тишины Гетеанума — вдруг неистовый гвалт берлинских кафе, — писал Е. Замятин, — из горла трубы, из саксофона, взвизгивая, летят бесенята джаза. Человек, который строил антропософский храм, в сбившемся набок галстуке, с растерянной улыбкой — танцует фокстрот...»

В самом деле, известный писатель, пользующийся большим авторитетом в писательской среде, что называется, дважды «завис» на игле. В первую очередь на игле граммофонной, поскольку во многих посещаемых им забегаловках не было желаемого «джазбэнда». Чаще всего пластинка крутилась и кружилась до утра, игла шелестела, задыхаясь в сладострастии ритмизированной музыки. А что касается второго «зависания», то... Нетрудно догадаться, что в приведённом в предыдущей главе отрывке, в гневном и

страстном описании повсеместного фокстрота в Берлине, ошутима зависимость самого писателя от этого танца. Однажды «уколовшись» фокстротом, он уже не мог остановиться, такова была магическая сила этого танца в двадцатых годах.

Поэтесса Вера Лурье иногда принимала участие в танцах и впоследствии вспоминала: «Белый носил длинный чёрный пиджак и вместо галстука чёрный шёлковый бант. Мы танцевали в ритме *one step* или шимми, и ещё им самим придуманный танец, который не имел ничего общего с модными танцами. Но публика была в таком восторге, что мне даже дарили цветы».

Ходасевич сокрушался по поводу танцев своего друга: «Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил свои «вариации» — искажённый отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всём, за что ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мелодраму, порой даже непристойную». Вадим Андреев — свидетель сумасшедших танцев поэта — пишет, что ему вспомнились слова Белого о том, что «жесты огня повторяют себя в лепестках цветов» и что цветы — «напоминания об огнях космической сферы».

Из воспоминаний Бахраха: «Эти пляски, свидетелем которых я неоднократно бывал, уже много раз описывались его друзьями (и некоторыми его недоброжелателями!) и трудно что-либо добавить к этим описаниям. Разве что — не помню, говорилось ли уже об этом — сказать о чувстве какой-то неловкости и даже тревоги за него овладевало каждым, кто сопровождал его в этих эскападах. Оно усиливалось ещё сознанием беспомощности, так как остановить его в эти минуты ни у кого не было никаких сил. Он проявлял «там» железную волю. А ведь никогда не было известно, чем всё это может кончиться, не вспыхнет ли какой-нибудь пренеприятный скандалчик и не упадет ли Белый в глубоком обмороке на то куцее танцевальное пространство, на котором всё «действие» и происходило. Восстанавливая теперь в памяти все эти «безумства», диву

даешься, почему такие скандалы как будто никогда не вспыхивали. Ведь Белый приглашал молоденьких девиц, пожилых матрон — собственно, ему было вполне безразлично, кто с ним пляшет, кто его партнерша, — и так как было тогда не принято от приглашения отказываться, он обрекал себя на некий «танцевальный эксгибиционизм» кого попало. А ведь его танец неизменно принимал какой-то демонический, без малого ритуальный (но отнюдь не эротический) характер, доводивший нередко его партнерш до слёз и настолько публику озадачивающий, что его танцы иногда превращались в сольные выступления. Остальные пары покорно уходили в сторону, чтобы поглазеть на невиданное зрелище. Но всё же «выкрутасы» русского «профессора» (так он титуловался во всех этих значных местах) были таковы, что в большинстве случаев все эти берлинские мещане среднего достатка чувствовали, что перед ними человек какого-то особого склада, к которому их мерки неприменимы.

«Зрелище без рампы» опытного сценариста, предававшегося изощренным причудам своего времени, — не что иное, как экспрессия бунтовщика. Ибо как говорил М. Бахтин, смеющийся народ во время театральных уличных представлений (мистерий, карнавала, балагана) — всегда находится по касательной к узаконенному миропорядку. Бахтин ввёл ещё в литературу такое понятие: «память жанра». Белый не случайно написал в это время стихотворение, которое назвал «Маленький балаган на маленькой планете Земля». Полагаю, что, определяя своё произведение как «балаган», поэт подразумевал народные театральные зрелища, устраиваемые в России 18-го века на ярмарках и площадях, называемых «балаганом», или же, что ещё вероятней, средневековые мистерии, соседствовавшие с балаганным жанром и запрещённые религиозными властями в середине 16-го века.

Мистерии с сюжетами из Евангелия, перемежавшиеся с бытовыми интермедиями и комическими номерами, также показывались во время общих городских праздников. На площади воздвигался длинный помост с декорациями,

а зрители располагались вдоль помоста, или смотрели на представление из окон и с балконов окружающих домов.

«Шоу», устроенное писателем в Берлине на публику, имеет самое прямое отношение к литературе, ибо *автор* сотворил *балаган*, да такой, что двухлетнее пребывание автора в столице немецкого государства превратилось в берлинскую легенду.

Интересно, сколько зрителей в общей сложности набралось у Белого во время танцев в Берлине?

### 3

## Площадь с единорогом

*«Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь: время не терпит».*

*Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря.*

Между тем, Белый сообщил о своём недостойном поведении в Россию: «Что сказать о Берлине и обо мне в Берлине. Плохо, очень плохо. В России свет: сквозь трудные дни жизни (во внешнем), свет брезжит в России; а здесь — нет. У меня великолепная комната, покой, пища и всё, что нужно для жизни, под руками; а — плохо: так плохо, что с усилием держу себя в Берлине, так душа рвётся назад. У меня ряд разочарований: в Штейнере, в Асе, в движении, в себе самом, в пути, во всём; а я — совершенно один: некому высказаться; знаете, Соня, я стал сознательно пить; невыносимо мне сейчас моё самосознание; хочется его, самосознание, утопить в вине: невыносимо оно. Стал я — пьяницей. Нечем жить в Берлине — совершенно нечем. И что писать, — не знаю. Встретил Асю, но она — тень прежней Аси, какая-то Эвридика, которую мне, недоорфеившемуся Орфею, непосильно вывести из ада антропософских абстракций...»\*

Белый облюбовал некое убогое заведение возле Виктория-Луизаплацц «с захожими пьяницами» и

\* Письмо Софье Спасской от 15 января 1922 года в книге: Спивак Моника. «Андрей Белый — мистик и советский писатель» М., 2006.

«потрёпанными хулиганами», чтобы наблюдать жизнь берлинского «дна». Ему показалось, что посетителей этой пивной объединяет одна общая тайна, — тайна «бывших» людей, опустившихся на дно жизни. Он оказался прав: «собрание этих людей оказалось судьбой установленным братством несчастных». Со временем он познакомился со всеми завсегдатаями пивной, и один из них, «тускло-серенький толстячок, герр-директор» оказался поклонником Макса Штирнера, хорошо знал философию Шопенгауэра и Ницше. Белый признался ему, что любит Айхендорфа, и герр-директор тут же рассказал ему подробную биографию немецкого романтика. Вот с ним, герр-директором, и произошла у Белого беседа, напоминающая написанное им в Цоссене в середине июня стихотворение «Маленький балаган на маленькой планете Земля», сопровождавшееся авторской ремаркой: «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва «Бум-бум». «Этот серенький герр-директор был в духе своём анархистом; так, однажды, когда я сказал, что такого-то политического деятеля надо взорвать бомбой, воскликнул он радостно: «Dan kommt Bum-Bum»; и «Bum-Bum» в установившемся нашем жаргоне стало символом разрушения старого мира».

Стихотворение «Маленький балаган на планете Земля» состоит из 19-ти частей. Приведу предпоследнюю и последнюю его части:

18

В вызове  
Твоём  
Ложь!..

Взбрызни  
В очи  
Забвения...

Вызови ж  
Предсмертную  
Дрожь...

Взвизгни  
Сердце моё —  
Дикий  
Вырванный  
Стриж —

В бездны  
Звездные,  
Сердце, —  
Ты —

Крики дикие  
Мчишь!

19

Бум,  
Бум, —

— Кончилось!

(Форточка закрывается. Комната наполняется звуками веселого джимми).

Белый и в самом деле выкрикивал «бум-бум» в форточку своей комнаты пансиона Крампе на Виктория-Луизаплац, 9. «Бум-бум» в пивной и выкрикивание в форточку символично: Белый тогда многим казался смешным и неудобным, короче, шутом.

Своё страдание и всё, что с ним приключилось в Берлине, он назвал *маленьким балаганом на маленькой планете Земля*, то есть он *себя выделил в Берлине*, который в данном контексте и есть центр Земли.

Вернувшись в Россию, Белый сделал интересный драматургический эксперимент, написав для фильма сценарий по роману «Петербург», где повторил тему «Dan kommt Bum-Bum». На этот раз Bum-Bum — «Бомба» («взрыв», «бездна») буквальным образом оказалась внутри персонажей: «Мы вот в этих комнатах разрываемся прекомфортабельно...» В финале сценария (фильм не был снят) безумный Николай Аполлонович, услышав о гибели

отца, входит в гостиную со словами: «Я вам говорил, что мы — бомбы; и вот — разрываемся».

---

Поселившись после Цоссена в пансионе Крампе на Виктория-Луизаплац, 9, Белый оказался соседом Берберовой и Ходасевича, снявших там две комнаты.

«Из окна моей комнаты в берлинском пансионе Крампе видны окна напротив, — вспоминала Берберова. — Пансион помещается на четвёртом и пятом этажах огромного дома с мраморной лестницей, канделябрами, голой фигурой, держащей электрический факел. Комнаты наши выходят во двор, комнаты Крампе занимают оба этажа, два круга окон, и всё это — Крампе. И есть комнаты, которые выходят на площадь — Виктория-Луизаплац — эти два этажа по фасаду — тоже Крампе (там живет Гершензон). Сама Крампе серьёзная, деловая, лысая старая дева; впрочем, живет она с художником, лет на двадцать моложе её. Из окна моей комнаты я вижу, как они вместе пьют кофе по утрам. Вечерами она сидит за счётными книгами, а он пьёт ликер Канторовица. Потом они задерживают шторы, потом тушат свет» («Курсив мой»).

Берберова рассказывает, что можно было видеть окно Белого напротив, из которого выкрикивалось эпатажное «бум-бум». Однажды она наблюдала за странными манипуляциями Белого, который не мог задвинуть ящик ночного столика: «Он ставит его на пол и смотрит в него, потом делает над ним какие-то странные движения, шепчет что-то, будто заклиная его. И вот он опять берёт его — на сей раз так, как надо, — и ящик легко входит, куда следует. Лицо Белого сияет счастьем».

Белый был частым гостем Ходасевича, с которым был близок ещё в России. Они совместно работали в «Золотом Руне», в «Перевале», в брюсовских «Весак». В Берлине Белый написал две статьи о творчестве Ходасевича: «Рембрандтова правда и поэзия наших дней» (Записки мечтателей. 1922, №5) и «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. Париж, 1923. Кн. 16).



Берлин. Виктория-Луизаплац, 9. Фасад дома пансиона Крампе, где жили А. Белый (1922-1923), Н. Берберова и В. Ходасевич. Фото Б. Антипова, 2008 год.



Вход на станцию подземной железной дороги (метро) на Виктория-Луизаплац.

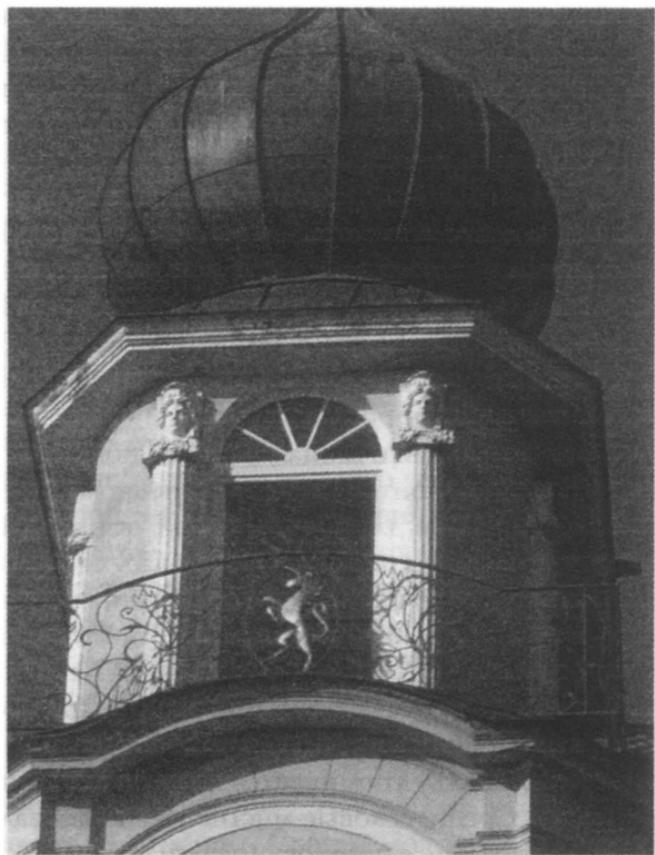
Однажды, вернувшись домой, Берберова нашла всю комнату в пепле, окурки были натыканы в чернильницу, в мыльницу, пепельницы были все полны, «и Ходасевич сказал, что в ту минуту, когда Белый вошел в дверь, — всё кругом преобразилось. Он нёс с собой эту способность преобразования, а когда он ушёл, все опять стало, как было: стол — столом и кресло — креслом. Он принес и унес что-то, чего никто другой не имел».

---

На Виктория-Луизаплац так же, как и на прилегающих к ней улицах, возник целый город «на смене вех», именовавший себя «русским Берлином». Эмигранты селились в пансионах, сидели в облюбованных ими кафе «по чужим местам», как говорил Андрей Белый, — «ничьи — с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет».

Виктория-Луизаплац, так же, как и рядом находящаяся Прагерплац, считалась одной из красивейших площадей Берлина. Она и сейчас производит впечатление слаженного ансамбля. На рубеже веков, в эпоху лидерства Германии в развитии европейской архитектуры, площадь была застроена великолепными зданиями, увенчанными островерхими черепичными крышами, с мансардами и башенками. Затейливые фасады, ажурные чугунные балконы и решетки, рельефные украшения из литого и кованого железа и витражи на ризалитах свидетельствовали о наступлении нового, двадцатого века.

Символично, что Андрей Белый поселился напротив красивого углового здания с ажурными маленькими балконами, башней, увенчанной крышей-луковицей, изысканным чугунным балконом, полукругом опоясывающим башенку, с изображением излюбленного писателем мифического единорога, напоминающего нам о фамильном гербе Аблеуховых в романе «Петербург», содержащем единорога, о чем Белый неоднократно настаивает: «Вытянутый лакей захлопнул каретную дверцу, на которой изображался стародворянский герб: единорог, пробода-



**Фрагмент дома на площади, украшенный единорогом. Мифический единорог — любимый символ в творчестве Белого. Фото Б. Антипова, 2008 год.**

ющий рыцаря». Или: «Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатали карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря». В иных случаях единорог, традиционно желтоватобелый, становится у писателя красным, чего «не бывает». Так что изобретение *красного* единорога принадлежит всецело Белому: «... подкатали лаковую карету, на которой был выведен стародворянский герб: красный единорог, прободающий рыцаря». Или: «... он стремительно захлопнул каретную дверцу, на которой был изображен стародворянский герб: красный единорог, прободающий рыцаря». По мнению исследователя творчества Белого Л. К. Долгополова герб, придуманный писателем, имеет прозрачную символику: рыцарь «Запад» «прободается» мифологическим единорогом.

Бахрах, рассказывая о танцах Белого, упоминает единорога в «окультурном» контексте, что в конечном счете не является противоречием для излюбленной «взрывной» идеи писателя «Запад — Восток»: «Он выделял свои замысловатые па в том же ключе, в котором когда-то сочинял свои симфонии или примерно за двадцать лет до того рассылал друзьям визитные карточки из «24-го излома Беллендриковых полей» от лица единорогов и силенов». Единорог или моноцерос — животное не только мистическое, но ещё и библейское, поскольку упоминается в Священном писании несколько раз. Средневековые мистики использовали эмблему с изображением единорога (изящная лошадь белого или желтоватого цвета с черным рогом) как символ Христа. Согласно Мэнли Холлу, единорог в мистериях — символ духовной природы инициированного человека. Рог этого таинственного животного — пылающий меч для защиты духовной доктрины.

Мы не знаем, обратил ли Белый внимание на единорога, властно увенчавшего собою площадь, поскольку его собственные свидетельства о Виктория-Луизаплатц, особенно его настроению в тот период, не то, чтобы другого, а совершенно даже противоположного характера, — она ему неинтересна и даже скучна.

«На одной только Viktoria-Luise-Platz насчитал 13 заведений подобного типа\*»; — сообщает Белый, — и все это — в бурой, тоскливейшей дымке; и бурые, скучные, пресные бургеры бегут в буроватых пальто вдоль тех улиц, вдоль скверов и проваливаются в дыру, зияющую посередине, чтобы выскочить где-нибудь (может быть в отдаленном квартале) из точно такой же дыры; и увидеть опять-таки постамент, сквер, старушку перед ним, её пса; и нестись вдоль такого же буроватого, пренелепого ряда домов в буроватой томительной мгле, под буреющим небом, над бурым асфальтом.

Мне помнится, — кто-то назвал небо этого города нежно-сиреневым: может быть, этот оттенок бывает. Не знаю: не видел».

«Пансион этот был расположен в непосредственной близости от пресловутой «Прагер Диле», — вспоминал Бахрах о пансионе Крампе, — которую увековечил Эренбург и в честь которой Белый создал неприятный неологизм «прагердильствовать» — неологизм, которым он воспользовался для заглавия одной из своих статей, появившихся на страницах горьковского журнала «Беседа». Думается, что уточнять, что Белый имел ввиду, изобретая это слово, не приходится — об этом без труда можно догадаться».

---

Александр Васильевич Бахрах сформировался как литератор в эмиграции. Совсем молодым человеком (он родился в 1902 году) сражался на фронтах гражданской войны на стороне белых. В Берлине он близко сошелся с Андреем Белым (впоследствии жил в Париже, принадлежал к тому поколению литераторов, которое называют «монпарнасским», был секретарем у Ивана Бунина). Мемуары об Андрее Белом впервые опубликованы в журнале «Континент» (1975, №5), позднее вошли в книгу Бахраха «По памяти, по записям» (Париж, 1975). Александр

\* Сейчас я на площади насчитала пять кафе и ресторанов, один из ресторанов называется «Potemkin».



**Виктория-Луизаплац в десятих годах прошлого века. Слева впереди видна часть дома, в котором жил Андрей Белый.**

Бахрах — один из адресатов Цветаевой. Двадцатилетний критик откликнулся на изданный в «Геликоне» поэтический сборник Цветаевой «Ремесло» и на эссе Цветаевой «Световой ливень» в берлинской газете «Дни». Цветаева одарила Бахраха, не будучи с ним лично знакома, письмами и стихами. Посвятила ему стихотворения «Раковина», «Наука Фомы», а также невероятное по силе и энергии стихотворение «Письмо»:

Так писем не ждут,  
Так ждут — письма,  
Тряпичный лоскут,  
Вокруг ~~письма~~  
Из клея. Внутри — словцо.  
И счастье. И это — все.

.....  
(Квадрата письма:  
Чернил и чар!)  
Для смертного сна  
Никто не стар!

Квадрат письма.

---

У Берберовой сохранились списки встреч с литераторами-эмигрантами, а для Белого (высокое место в литературе которого она для себя давно уже «отметила») отведен был отдельный листок, хроника берлинских многочисленных (и долгих) встреч, в основном, Ходасевича и Белого, за 1922–1923 годы, который она огласила в своей книге «Курсив мой»:

#### 1922. БЕРЛИН.

июль: 1, 3 (2 раза)

август: 8 (1)

сентябрь: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 (15)

октябрь: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 (20)

ноябрь: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (10)

СААРОВ.

ноябрь: 23, 24, 25 (3)

декабрь: 6, 7, 8, 9, 13, 31 (6)

1923. СААРОВ.

январь: 1, 2, 10 (3)

февраль: 1, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 (9)

март: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (7)

май: 9, 15, 18, 22, 23 (5)

БЕРЛИН.

июль: 1, 4, 5, 6, 8, 11 (6)

ПРЕРОВ.

август: 14 – 27 (14)

БЕРЛИН.

август: 30, 31 (2)

сентябрь: 3, 4, 5, 6, 7, 8 (6)

Бахрах рассказал, как однажды Белый, Ходасевич, Берберова и он сам сидели допоздна в «Прагердиле», затем почему-то направились в сторону Бамбергерштрассе, что примерно в двухстах шагах от Виктория-Луизаплатц, где находилось издательство «Геликон». Это издательство переехало в Берлин из Москвы в сентябре 1921 года, то есть за месяц до приезда Андрея Белого в немецкую столицу. Появление нового русского издательства в Берлине никого не удивило — образовалось уже 40 книгоиздательств, готовых поставлять продукцию на советский и эмигрантский рынок. В Журнале «Эпопея» за 1922 год, издаваемом Андреем Белым в «Геликоне» (всего было издано четыре номера), я нашла рекламу редакции с адресом «Геликона»:

*Книгоиздательство «Геликон»*

*Редакция и главная контора:*

*Berlin W, Bamberger Str. 7 Tel.: Kurfürst 60 -13*

*Отделение: Alte Jakobstr. 129 Tel.: Moritzplatz 71-73*

---

В письме из Чехии к художнице Чириковой (16 октября 1922 года) Цветаева сообщает адрес Абрама Григорьевича



Лого издательства  
«Геликон»



Абрам Григорьевич Вишняк



Бамбергерштрассе, 7. Здесь в нижнем этаже находилось издательство «Геликон», принадлежащее А. Вишняку, где публиковались Эренбург, Цветаева и Белый. Белый при «Геликоне» издавал журнал «Эпопея». Фото Б. Антипова, 2008 год.

**Вишняк:** «Адрес его: *Bambergerstrasse 7*, угловой дом с *Pragerstrasse*, на окне огромная вывеска — «Геликон» — сразу в глаза бросается. Бывает он в издательстве, по-моему, около 12 1/2 дня, а потом вечером, от 5-ти до 6-ти. — Так, по крайней мере, бывало раньше».

Цветаева помнила адрес издательства, но забыла название соседствующей угловой улицы: оно находилось на углу Бамбергерштрассе и Регенбургерштрассе (а не Прагерштрассе, как указывает она). Витрина, на которой в двадцатых годах красовалась вывеска издательства «Геликон» и поныне выходит на Бамбергерштрассе.

По приезде Цветаевой в немецкую столицу между ней и редактором издательства Вишняком завязался настоящий роман, завершившийся «романом в письмах». Вишняку не суждено будет узнать о том, что его переписка с Цветаевой получит впоследствии название «Флорентийские ночи» и станет «литературным фактом» (Тынянов), ибо эта переписка будет впервые опубликована на французском и итальянском языках в 1981, а на русском — в 1985 году, то есть спустя почти сорок лет после гибели обоих участников драмы. (Кроме того, Цветаева посвятила Вишняку цикл стихотворений «Земные приметы» и переадресовала ему несколько прекрасных стихотворений, написанных в Москве в 1921 году). Вишняк погиб в 1941 году в лагере Грос Розен, что находился на границе с Чехословакией, в том же году Цветаева покончила с собой в далекой глухой Елабуге.

---

Андрей Белый в четырех номерах «Эпопей» издал «Воспоминания об Александре Блоке», затем он, по сути дела, основатель журнала, вышел из редакции, тем самым закрыв его. Заявление Белого о своем выходе из состава редакции Вишняк, который издавал и финансировал журнал по просьбе Белого, опубликовал на титульном листе журнала (№4, 1923) опять же по просьбе Белого:

*В книгоиздательство «Геликон»  
А.Г. Вишняку.*

*Глубокоуважаемый  
Абрам Григорьевич.*

*Не откажите в напечатании нижеследующего\**

*Многообразные занятия и отсутствие  
свободного времени не позволяют мне  
продолжать редактирование «Эпопеи»,  
оставаясь постоянным сотрудником  
мне близкого журнала, я все же должен  
выйти из состава Редакции. Примите  
мои искренние пожелания в успехе  
и укреплении основных тенденций «Эпопеи».  
Примите уверения в совершенном  
Почтении*

*Андрей Белый*

«Случай» с закрытием «Эпопеи» — свидетельство толерантности Вишняка к уважаемым авторам, постоянно меняющим свои решения и пожелания, не считаясь с финансовым положением издательства, которое очень скоро, через год, потерпит настоящий крах и прекратит свое существование. Издательство «Геликон» сумело продержаться в Берлине до 1924 года, а затем, подобно многим другим, заглохло. «Кончилась «Геликон», — возвестила 15 мая 1924 года из Берлина Нина Петровская. — Буквально зарос травой «забвения» его закрытый подъезд. Окна с опущенными ставнями, — как глаза с бельмами. И Вишняк обедает два раза в месяц».\*\*

Вернемся к воспоминаниям Бахраха, к интереснейшему эпизоду, как нельзя лучше характеризующему Белого, для которого танцы, играли большую роль не только в берлинскую бытность (собственно, весь роман

\* Сохраняю первоначальную орфографию.

\*\* Письма Н. И. Петровской к О. И. Ресневич-Синьорелли. «Минувшее», Atheneum, Париж.

«Петербург» — танцевально-карнавальный). И так, четверо литераторов отправились к Бамбергерштрассе. Подойдя к издательству Вишняка, все четверо — Ходасевич, Берберова, Бахрах и Белый — по инициативе Белого стали кружиться в хороводе и «веселились, как дети». «Пройдя мимо помещения, — вспоминал Бахрах, — занимаемого «Геликоном» (вход в него был прямо с улицы), мы ещё раз остановились и прикололи к дверям издательства тут же сочиненный коллективный экспромт. Бывают ведь такие несуразные капризы памяти: я до сих пор помню его слово в слово и курьеза ради готов его тут привести:

Абрам Григорьевич Вишняк,  
Танцуйте чаще козловак,  
Его на Регенбургерштрассе  
Протанцевали мы вчера...

Бахрах отметил, что для Белого танец перед издательством «Геликон» был в некотором роде частью мистерии. Белый готов был опять «вообразить себя кентавром или каким-либо мифологическим существом», как он это делал в молодые годы, когда отправлялся искать кентавров за Девичий монастырь, по ту сторону Москва-реки».

Берберова, Ходасевич и Белый постоянно совершали ночные прогулки, бродили по улицам, прилегающим к Виктория-Луизаплатц. Почему-то была такая потребность: бродить ночью и непрестанно говорить о том, что скоро все это кончится: ведь вот, случилась Французская революция, но затем обошлось — произошла Реставрация. И мы так же, как когда-то французские эмигранты, вернемся домой. Под впечатлением ночных прогулок, совершаемых чаще всего по Мотцштрассе, Ходасевич написал стихотворение, в котором *трое* выходят в ночь, как три ведьмы в «Макбете» — но с песьими головами:

С берлинской улицы вверху луна видна,  
В берлинской улице ночная тень длинна,  
Дома, как демоны, между домами мрак,  
Шеренги демонов и между них сквозняк.

# Книгоиздательство „ГЕЛИКОНЪ“

Редакция и главная контора:

Berlin W, Bamberger Str. 7 \* Tel.: Kurfürst 60-13

Отделение: Alte Jakobstr. 129/Ш. Tel.: Moritzplatz 71-73

## ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

*И. Эренбургъ.*

А все-таки она вертится.  
(О новомъ стилѣ въ искусствѣ).  
Съ многочисленными иллюстр.  
Обл. раб. Ф. Леже. Ц. 70 м.

*И. Эренбургъ.*

Необычныя похождения Хулио  
Хуренито и его учениковъ.  
(Жизнеописание). Ц. 70 м.

*L'art russe.*

Обзоръ выставки русскаго искусства въ Парижѣ.  
Статьи Г. Лукомскаго, Рео и др.  
24 иллюстраціи на отдѣл. лист.  
Обл. раб. Стеллецаго Ц. 100 м.

*М. Цветаева.*

Разлука. Книга стиховъ.  
(На бумагѣ ручной формовки).  
Обложка работа А. Арнштама.  
Ц. 30 м. въ переплетѣ.

*И. С. Тургеневъ.*

Кавъ Тропмана.  
Съ рис. М. Слодкаго. Ц. 25 м.

*П. П. Муратовъ.*

Три разсказа.  
Съ рис. Ф. П. Блюма. Ц. 30 м.

*А. Ремизовъ.*

Россія въ письменахъ. т. I.  
Обл. раб. В. Масютина. Ц. 60 м.

## Н О В Ы Я К Н И Г И

*А. Толстой.*

Повѣсть о многихъ превосходныхъ  
вещахъ. (Романъ).  
Обл. В. Масютина. Ц. 50 м.

*И. С. Тургеневъ.*

Пѣснь торжествующей любви.  
Съ иллюстр. В. Н. Масютина.  
Ц. 50 м.

*Н. Гоголь.*

Ночь. Съ рис. В. Н. Масютина.  
Ц. 50 м.

*А. Бѣлый.*

Путевыя замѣтки. т. I.  
(Сицилія и Тунисъ).  
Обл. раб. В. Масютина. Ц. 90 м.

*„ЭПОПЕЯ“*

литературный семейскычникъ  
подъ ред. А. Бѣлаго.

### № 1

Обл. Л. Лисицкаго. Ц. 90 м.

## П Е Ч А Т А Ю Т С Я

*И. Эренбургъ.*

Золотое сердце. Вътеръ  
Трагедія въ стихахъ.

*И. Эренбургъ.*

Шесть повѣстей о легк. концахъ  
Съ иллюстр. Лисицкаго.

*На путяхъ.*

Второй сборникъ еврейцевъ.

*Б. Пильнякъ.*

Повѣсть петербургская.  
Съ иллюстр. В. Масютина.

*Н. Крандѣевская.*

Отъ лукаваго. Книга стиховъ.

*В. Масютинъ.*

Гравюра и литография.  
Съ многочисл. воспроизведеніями.

Часть каждого изданія выходитъ въ переплетѣхъ.  
Нумерованные экземпляры на особой бумагѣ.

Генеральный предств.: „Russischer Universal-Verlag“ G. m. b. H.  
Berlin W 30, Martin-Lutherstr. 96 \* Tel.: Amt Kurfürst 21-50.

Рекламная страничка с адресами издательства «Геликон».

**Дневные помыслы, дневные души — прочь!  
Дневные помыслы перешагнули в ночь.  
Опустошенные, на перекрестке тьмы,  
Как ведьмы, по трое, тогда выходим мы.  
Нечеловечий дух, нечеловечья речь,  
И песьи головы поверх сутулых плеч.  
Зеленой точкою глядит луна из глаз,  
Сухим неистовством обуревая нас,  
В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,  
И электрический над головами треск.**

В 1924 году, находясь уже в России, Белый, вспоминая ночные бдения вокруг Виктория-Луизаплац, изображая демонический ночной Берлин, эхом отвечая стихотворению оставшегося в Берлине Ходасевича, воссоздает жуткий «ночной» образ песьеголовых «личностей» непонятного происхождения:

«В моменты закрытия ресторанов по улицам мрачного, бурсерого города валят толпы фоксгротопоклонников, фоксгротопоклонниц; и медленно растворяются в полуосвещенных улицах Берлина; и делается на сердце уныло и жутко; тогда из складок теней начинает мелькать по Берлину таинственный теневой человек, с котелком, точно приросшим к голове, придающим последней какую-то звероподобную форму; вам кажется, что это тот самый песьеголовый человек, который встречает вас на древних фресках Египта; там он неизменно сопровождал усопшего в царство теней, на страшный суд к Озирису; тут он, схватив вас под руку, обдает вас коньячными испарениями рта и выхрипывает вам в ухо: «Я отведу вас в «Nachtlocal». «Nachtlocal» — ночные плясульки, ежедневно меняющие свои места и преследуемые полицией; если вы последуете за песьеголовым человеком, — перед вами откроется градация ночного Берлина: полуприличных и неприличных плясулен, игорных притонов, вплоть до курилен опиума; в этот же час рыскают по трущобам Берлина автомобили, наполненные полицейскими; они отыскивают ночные притоны и отправляют там пойманных посетителей в «Polizeipräsidium».

Белый ещё вдобавок не согласен был с монотонной архитектурой Берлина (несмотря на то, что поселился на площади с затейливой архитектурой). Унылое ее однообразие — признак организованного хаоса, а организованный хаос, затаившийся в данном мегаполисе, впрочем, как и в любом другом, — излюбленная тема этого урбаниста.

«Все дома достаточно монументальны, — говорит Белый, — роскошны, величественны; но все роскоши и величия этих домов интерферируются в поле зрения в одну серую, буро-серую, нудную скуку организованного безумия, в котором понять невозможно ни улицы, ни отдельных домов; и при этом особенность берлинской перспективы: коли тебе ясно, что надо налево идти, поворачивай смело направо; все отчетливые представления о топографии города у тебя суть обратные отображения действительности, все вывернуто наизнанку со здравого смысла в безумие и с такой педантичностью, что самая организация порядка безумий здесь выглядит педантизмом сухого и здравого смысла, ясностью, внушающей полное доверие приезжающим; таково свойство Берлина; в него попадая из «явно-безумной» Советской России, сперва отдыхаешь в покое вполне безобиднейшей ясности...»

Далее Белый ставит под сомнение нравственные ценности населения города, напоминающие фантазмагорию «Замка» Кафки, где все опрокинуто в силу опрокинутости самой основы бытия. Очевидно, что Белый не то что-бы не приемлет Берлин — он откровенно не любит его и, кажется, готов обвинить сам город в том, что здесь с ним, пассивной жертвой судьбы неумолимой, произошло.

Интересно, что в романе «Петербург», в символическом пространстве города-легенды, Запад олицетворяют *геометрически правильный* Невский проспект, тогда, как Петроградская сторона — символ Востока, хаоса и терроризма. В описании же Берлина мы находим совершенно неожиданный организованный хаос, без окраин и центра, то есть невидимый ещё, но грозно и неотвратимо наступающий *отовсюду и на все* террор: «Dan kommt Bum-Bum».

## О псевдогаллюцинациях

*У Аполлона Аполлоновича была своя странная тайна: мир фигур, контуров, трепетов, странных физических ощущений — словом: вселенная странностей.*

Действительно ли Белый был болен? Или же его «мозговая игра» — изощренная литература? Он сам признавался: «Вскоре я стал плясать фокстрот: невропатолог мне прописал максимум движений, а учительниц... эвритмии при мне не было: где они были со своей «Хейль-эвритри»? Спасибо и аритмии: движения рук и ног помогли.

Невропатолог был прав».

Он ещё говорил, что сцены истязаний, изображенные им в последнем романе, отозвались на нем лично: «Эти истязания во мне разыгрались; мне казалось, что меня истязают в Берлине, что меня *истязают*; с переживаниями 1922 года связывались переживания вереницы лет: от детских напраслин, через «дурачка», через «безумца» стихотворения 1904 года, через «Затерзали пророка полей» (из стихотворения 1907 года), через «обвинённого» в чем-то Мегнером, через темную личность антропософских сплетен 1915 года, через «бывшего человека» 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1921 году воскликнулось: за что терзаете *меня?*»

Штейнер, как мы помним, прочитав письмо Белого из Ковно, определил: «Бугаев болен». Что же касается безудержной фантазии с примесью юродства, то она и в самом деле граничила с безумием. Таков был её кошмарный результат, когда языком литературы, в художественной, фикциональной форме (в жанре балагана с примесью мистерии) Белый рассказал всем о своих несчастьях.

Любопытны гипотезы самого Белого по поводу нервного стресса одного из главных персонажей романа «Петербург» Николая Аполлоновича:

— «Это вам только, Николай Аполлонович, ощущения ваши кажутся странными, просто вы до сих пор сидели над Кантом в непроветренной комнате; налетел на вас шквал — вот и стали вы в себе замечать: вы прислушались к шквалу; и себя услышали в нем... Состояния ваши многообразно описаны; они — предмет наблюдений, учебы...»

— «Где же, где?»

— «В беллетристике, в лирике, *психиатриях*, в окултских изысканиях.»

— «Психиатр...»

— «?»

— «Назовет...»

— «Да-да-да...»

— «Это всё...»

— «Что *«это всё — то да не то?»*»

— «Ну, *то да не то* — зовите хоть так, — для него обычнейшим термином: псевдогаллюцинацией...»

Далее следует разъяснение термина «псевдогаллюцинация»: «под влиянием потрясения совершенно реального в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение отделилось, отлипло от физического, и вот вы пережили всё то, что вы там пережили: затасканные словесные сочетания вроде «бездна без дна», или «...себя» углубилось, для вас стали жизненной правдою, символом... так вот этими символами изобилуют произведения мистиков...»

А по поводу бывшего с вами я могу лишь прибавить одно: этот род ощущений будет первым вашим переживанием загробным, как о том повествует Платон...»

Сравним с одним из высказываний Рудольфа Штейнера в его «Пути к самопознанию человека»: «Когда человек начинает воспринимать не чувственным телом, но вне его — телом стихийным, то он переживает мир, неведомый восприятиям внешних чувств и обыкновенному рассудочному размышлению...»

«Можно себе представить Блока в эмиграции, — заключает Берберова, — Горького в эмиграции, даже Маяковского

в эмиграции. Но Белый мыслим в эмиграции только в одном-единственном аспекте: тенью Штейнера в Дорнахе, строящего Гетеанум (после пожара первого, который был выстроен руками учеников Штейнера, — в том числе, руками Белого), тенью Штейнера живого, и тенью Штейнера мёртвого («доктор» умер в 1925 году), и живущего, как за каменной стеной, в крепости своего швейцарского мировоззрения до смертного часа. Но крепости быть не могло — на этом месте между Борисом Николаевичем и «доктором» образовался за годы 1916 — 21 ров, в котором, как выразился сам Белый, кишели чудовища».

Однажды Берберова видела Белого, играющим «Карнавал» Шумана на старом пианино. «Никто не слушал его, — вспоминала она, — все были заняты своим, собой, то есть своей «свирепейшей имманенцией». На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его, — он ничего не помнил».

Бахрах, которому тогда было всего двадцать лет, опекавший Белого и сопровождавший его иногда и в пивных, и на ночных прогулках, рассказал захватывающую инфермальную историю, приключившуюся с ними однажды ночью. Как-то после закрытия кабачка на Лютерштрассе оба отправились на прогулку и очень долго шествовали в бесконечных разговорах (говорил Белый) по бесконечному Курфюрстендамму. Пройдя изрядное количество километров, завернули на какую-то боковую улицу, освещенную белесыми газовыми резервуарами. Освещенные лунным сиянием, резервуары казались неземными, и весь пейзаж казался неземным. Белый вдруг обратил внимание на дощечку с названием улицы, на который значилось: «Гейсбергштрассе». «Колдовская» «Geisbergstrasse», улица «провокаатор» предстоящей сцены, невинно существует и сейчас с тем же названием.

Белый вдруг закричал: «Да, так я и чувствовал — мы проникли на Гейсбергштрассе» (он вставил одну букву «т», и получилось, что мы на горе злых духов!). «Ведь они преследуют меня всю жизнь...» Он лихорадочно оттащил Бахраха с улицы «Горных духов» и вдруг завел длинный рассказ о том, что в предыдущей жизни был... Микеланджело.

«За этим головокружительным признанием следовали какие-то детали из жизни великого флорентийца, относимые им — не знаю, как это выразить, чтобы быть понятным, — к нему самому.

Я никогда ни до того, ни после того не слышал от него о его вере в «метапсихоз». О переселении душ он никогда не говорил, я не знаю, в какой зависимости находилось это признание от антропософского учения. Во всяком случае у меня было тогда ощущение, что всё это только «спяна». Отмечу только, что рассказывал как-то об этом случае одному штейнерианцу, тот ужаснулся: «Да как же он мог говорить вам... ведь это тайна, это нельзя повторять...» Продаю, за что купил!

Мне трудно и почти неловко передать сейчас все детали этого фантастического, бредового беловского рассказа, его тональность, его почти оккультную силу и его... убедительность. Да, на фоне того «марсианского» пейзажа, который только что открылся нашим взорам, красноречие моего спутника гипнотизировало меня, и в эту минуту! — я готов был поверить во всё, что он говорил, мне было не до смеха, и я никак не мог ощутить происшедшее как некую клоунаду. Впрочем, мне не было смешно и когда, покинув эту злополучную, населенную духами, «колдовскую» улицу и распрощавшись с Белым у подъезда его дома, я вернулся «сам не свой» к себе. Как и теперь, когда я вспоминаю всю эту сцену полвека спустя, меня всё ещё охватывает какая-то внутренняя дрожь».

Из воспоминаний Романа Гуля: «По улицам Берлина Белый не ходил — бегал от погони. Так я бежал за ним по Тауенцинштрассе, пока Белый не вскрикнул:

— Стойте! Стойте! Какой изумительный старик!

Медленно и согбенно навстречу шел старик в чёрной крылатке, в широкополой шляпе над длинной сединой волос.

— Он похож на рыцаря Тогенбурга.\* (...) Желтая роза, скифство, танцы, Штейнер, антропософы, подо всем —

\* Герой одноименной баллады Шиллера, переведенной В. Жуковским.

арифметическое несчастье просто человека. Может быть, это — биологическая трагедия творчества вообще? Когда люди в бешеной гонке мечутся по земле, не понимая, что за ними никто не гонится, кроме их собственной тени. Так в 22-м году Белый метался по Германии. Он заехал в деревушку, где промыслом жителей было деланье гробов. И оттуда давал SOS знакомым, уверяя, что в деревушке его обстали гроба. Но у литераторов нет друзей. Литературные друзья Белого, улыбаясь говорили, что в гробовую деревню Белый заехал за тем, чтобы дать оттуда телеграмму. Один день Белый был эмигрантом. Другой день был поэтом мировой революции. Все дни Белый был болен, мечась по Европе 22-го года...»

Уместно рассказать ещё об одном сутубо берлинском кошмаре Белого, свидетельствующем одновременно и о нервном срыве писателя, и о продолжении опасных литературных игр и мечтаний, не соблюдающих границ с подлинным существованием. О кошмарном ночном видении Белый рассказал писателю Григорию Александровичу Санникову, который, судя по тональности рассказа, по свежим следам занес его в записную книжку.

«Знаете, начало романа\* мне мыслилось со следующей сценки очень странного порядка, бывшей со мною в Берлине». — И он рассказывает, как однажды, попав к знакомым в далекий от центра район Берлина, он, по обыкновению, зашелся, заговорился, и, когда вышел на улицу, была безжизненная матовая ночь: ни трамвая, ни автомобиля, ни пешехода. Редкие газовые фонари полумёртвым светом освещали пустынную улицу: мрачное пятиэтажье домов-казарм с потушенными окнами. Идя по улице в раздумьях, где заночевать, он вышел на плац с чахлым и сумрачным сквериком. Что за плац это был? Он не помнит его названия. На площади была такая же густая и сумрачная, стиснутая чёрным многоэтажьем тишина. Он сел на скамейку в скверике, решив тут заночевать. Он — бесприютный пешеход-чужеземец, сидя на

\* Белый намеревался написать роман о Германии, но этот план не осуществился.

скамье, чувствовал себя одиноко в этом мрачном мире Германии. <...> Оглядывая плац, он видел обширный квадрат, окаймленный ацетиленовыми фонарями. Каменные тумбы торчали, как пни, бесшумная, бесприютная ночь дремала на ровном полуосвещенном асфальте площади.

Тишину нарушало только однообразное, утомительное журчание воды в прилегающем к скверу квадратном пустом и потушенном сооружении писсуара. Он, решивший заночевать в скверике, чтобы несколько рассеяться, погянулся в это квадратное сооружение, столь типичное для берлинских окраин. Когда он вошел в тёмную бетонную комнату, ему показалось, что в комнате люди, он явственно слышал движения, их быстрый шаркнувший в уши шорох. Он торопливо чиркнул спичкой и в красном вспыхе её увидел шеренгу людей в котелках и в караковых\* пальто, обращенных к нему тугими спинами. Они стояли шеренгой и все, точно по условному знаку, в безмолвии делали одно и тоже своё ... дело. Бросив спичку, он выскочил в скверик, он кинулся на скамейку, обратив глаза на дверь квадратного домика. Но оттуда никто не выходил. “Мне представилось, — говорит Б. Н., — что там собранье каких-то заговорщиков, о которых пока ничего не знает мир, но о которых скоро узнают все. С этого эпизода я хотел начать свой роман «Германия». Теперь мне ясно, кто они были такие. Так зарождался в Берлине фашизм”...\*\*

---

Знакомый «квадрат», вернее, куб, берлинского туалета, неотъемлемая часть берлинского пейзажа. Вообще же туалетная тема в Берлине («ассортимент туалетов» — Набоков) весьма интересная, поскольку вошла в литературу. Сей «квадрат» (или куб), как правило, и располагался у чахлах сквериков. Некоторое количество их сохранилось в пределах Берлина. Один из них просуществовал до недавнего времени на Несторштрассе, где рядом в доме № 22 находилась последняя квартира Владимира Набокова. Фасад

\* Черная рельефная ткань.

\*\* Г. А. Санников. Лирика. М., 2000.

дома — даже со скромной мемориальной доской. К столетнему юбилею Набокова по инициативе хозяина находящегося в доме ресторана-галереи господина Фидлера (Kunstkabinett) была установлена мемориальная доска из латуни, на которой высечены надписи — на немецком и русском языках. Русский текст звучит так: «В этом доме жил в 1932–1937 гг. писатель Владимир Набоков». Таким образом, Набоков прожил здесь, в квартире на третьем этаже, последние пять лет, здесь были написаны романы «Сатера obskura», «Приглашение на казнь», большая часть романа «Дар».

Туалет снесли уже в мою берлинскую бытность, что воспринято было мною с большим сожалением, ибо — туалет мемориальный. Мимо него в течение пяти лет проходил один из крупнейших романистов двадцатого века в пору работы над романом «Дар» (30-е годы), уже давно прочитавший джойсовского «Уллиса».

Вот далеко не полный перечень значительных произведений — романов и повестей — опубликованных Набоковым в Берлине под псевдонимом Сири́н (был у Набокова ещё один «берлинский» псевдоним — Василий Шишков): «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Отчаяние» (1930), «Соглядатай» (1930), «Сатера obskura» (1932), «Приглашение на казнь» (1935), «Дар» (1937), а так же первые пьесы «Человек из СССР», «Событие» и «Изобретение Вальса».

Воистину пути литературные неисповедимы. Набоков о Джойсе и его новаторстве в литературе говорил — и неоднократно, а впоследствии даже настойчиво — и в лекциях, и в интервью.

А вот прочитал ли Набоков роман «Петербург», столь нашумевший в эмигрантском Берлине? Промолчал — ничего нам по этому поводу не сказал, не сообщил. Неизвестно даже: скрестились ли случайно в Берлине в 1923 году пути двух романистов, оказавших существенное влияние на европейский роман двадцатого века: тогда Набокову было 24 года, создавал свой первый роман «Машенька», а Белому исполнилось 43 года, «Петербург» и многие другие его значительные произведения прозы были давно уже написаны.

## 5

### Серо-бурый Берлин

*Я всю жизнь называл себя западником; неоднократно писал я о скудости славянофильства; явления так называемого «русского духа» мне были враждебны, я чужд был всех привкусов национального самодовольства; переживания пресловутого настроения «русские шапками-де закидают Европу» — претили мне.*

В то время как немецкие романтики вслед за Руссо противопоставляли природу цивилизации, призывали к «естественности» и в ней видели универсальный ценностный ориентир, в русской литературной традиции эта мысль трансформировалась по-своему. Идея противоречия между природой и цивилизацией, между чувственностью и рассудком — этот особого рода «заграничный товар» — быстро приобрела популярность в России и вписалась в канву давнишнего конфликта между славянофилами и западниками. Россия, разумеется, была соотнесена в тогдашней философской дискуссии с естественностью и чувственностью. На её стороне, по убеждению славянофилов, были правда, духовная чистота, близость к первоначальному идеалу. Запад, напротив, явился прообразом распада человеческой цивилизации, погрязшей во грехе. Собственно, в этой генетической связи эстетико-философских концепций и состоит глубинная связь творчества русских романистов, таких, как Достоевский и Толстой, и немецких философов и литераторов — Шеллинга, братьев Шлегелей, Клейста и Гофмана.

Исаак Берлин подчеркнул, что «выход России на европейскую сцену» осуществлялся в большей мере именно во

времена расцвета немецкого романтизма, носившего в себе элементы шовинизма. Романтики так же, как позднее и российские славянофилы, утверждали, что рационализм и скептицизм погубили Запад. Исключение, по их убеждению, составляла лишь Германия — «юная и свежая нация», ещё не затронутая «разложением гбнущего Рима».

Эту «историческую избранность» у немцев оспаривали русские мыслители и писатели. Если молодость и варварство, говорили они, — залог великого будущего Германии, то у России для такой исключительности больше прав. Тот факт, что оформление всякой молодой национальной культуры нередко сопряжено с развитием национализма — известная печальная истина. Разумеется, национальной темы и национальных мыслей, так или иначе, при посещении Берлина, пожалуй, не избежали ни Достоевский, ни Тютчев, ни Тургенев. В сообщениях Достоевского о Германии, о немцах, о Берлине мы обнаруживаем знакомую славянофильскую идею, веру в исключительность русского народа — богоносца, который является «почвой» для создания «всенародной и вселенской церкви».

Исключение среди русских литераторов составила Марина Цветаева, назвавшая Германию «Vaterland». Но Цветаева — особый случай. Она с детства была воспитана матерью Марией Мейн, происходившей по отцовской линии из семьи остзейских немцев. И погому особенно лично пережила трагедию Второй мировой войны:

О мания! О мумия  
Величия!  
Сгоришь,  
Германия!  
Безумие,  
Безумие  
Творишь!

По сути дела, Цветаева пережила глубокий переворот в мыслях и чувствах и кризис веры в один из своих идеалов. Что ж, поэты, разделявшие романтические иде-

алы, сопровождавшиеся их крушением, умели расплачиваться за это.

Для Андрея Белого проблема русской истории изначально была связана с именем Владимира Соловьёва с его идеей России, являющейся водоразделом между двумя мирами — восточным и западным. Типичное для Белого соотношение восточного и западного начала как главной тенденции развития мировой истории, особой миссии России как некоего особого звена, разумеется, восходит к традициям русской литературы, в частности к Гоголю, Достоевскому и Толстому.

Однако от Соловьёва у Белого — и нечто другое: под покровом истории (её внешних фактов) действуют таинственные силы, которые в итоге и определяют ход мировой истории. В результате: окостенела история. Расшатать её может лишь некая высшая идея.

В последнем произведении Владимира Соловьёва «Три разговора» содержится вставная аллегорическая повесть о Сатане, у которого есть ставленник, выдающий себя за благодетеля человечества и пришедший в мир людей во главе полчищ восточных завоевателей. При ставленнике состоит «маг», «чародей», которого зовут Аполлоний, напоминающий нам именем своим о сенаторе Аполлоне Аполлоновиче Аблеухове.

Аполлоний, ставленник Сатаны, — полуазиат, полуевропеец, католический священник, обладающий последними знаниями европейской науки и тайнами традиционной мистики Востока, пользуясь которыми он может уничтожить цивилизацию. У Соловьёва образ Дракона, противостоящего божественному началу, восходит к Апокалипсису: «... и поклонились Дракону, который дал власть зверю». (13, 3). Белый, в связи с «восточной» опасностью, в 1900 году написал стихотворение «Дракон»:

Из-за кругов небес незримых  
Дракон явил своё чело, —  
И мглою бед неотразимых  
Грядущий день заволокло.

**В разных вариантах идея «жёлтой», или же «чёрной» опасности, наступающей с Востока, а впоследствии — с юга будет сопровождать творчество Белого.**

---

Для Достоевского, останавливавшегося в Берлине ненадолго, Берлин стал одним из центральных символов его вечной идеи противопоставления Востока и Запада, как в своё время для Толстого таким символом явился Люцерн. Впрочем, для Тургенева, Набокова, подолгу живших в Берлине, и Горенштейна, последнего крупного берлинского романиста, прожившего в немецкой столице 22 года, город также стал полем «напряжения культурологического пространства», где одним полюсом является Россия, а другим — Германия.

Берлин послевоенного времени казался Белому не то чтобы мрачным и скучным, как, например, Достоевскому, а, скорее, жутким. Всё, что видел он — людей, их одежду, дома, и даже берлинские небеса — всё приобрело серо-бурую и коричневую даже окраску, что невольно наводит на мысль о состоянии поэта-пророка в предчувствии приближения коричневой чумы. Белый, кстати, и задумал впоследствии роман о Германии, о фашизме, но не написал его. В краткой аннотации (1933 год) он сообщал: «... с фашистами я никогда не встречался; фабула — смутный лейтмотив, вставший мне из воздуха берлинской жизни в 1922 году; напиши я роман в прошлом году, читатели бы воскликнули: «Это пародия на Германию, оклеветывающая действительность!» Увы — ужасные события последних недель показали *правду* моей фантастики». \* (Речь здесь идет об инквизиторских акциях сжигания книг на площадях Берлина).

Берлин двадцатых годов приобрел серо-бурую окраску из-за *внедрения черного цвета* — смешались краски, говорит Андрей Белый, смешались культуры и традиции разных рас, народностей, религий. «Я не был в Берлине семь лет, и за эти семь лет буржуазный Берлин побурел, стал «мулатом».

\* Андрей Белый. О себе как о писателе. Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981.

«... Когда-то мне Мюнхен возник голубым; так Тунис мне стоит снежно-белым; определённо коричневым возникает Каир; и возникает Берлин серо-бурым, с коричневыми зловещими полутенями атмосферы, его обволакивающей; эта последняя рисовалась мне фоном картины, изображающей царство теней древних греков, или мрачной обителью подземного мира Египта, где строгий Озирис чинил над усопшими страшный свой суд».

«... Когда серо-бурый Берлин вечером разрывает в клочки своё одеяние; и в электрическом блеске пестрейших кафэ, в негритянском ритме фокстротов проступает восток и юг: тут увидите вы и Нигерию, и Маниллу, и Яву, и Цейлон, древний Китай.

Хочется воскликнуть: Европа? Какая же это Европа? Это — негр в Европе, а не Европа».

Как будто становится понятен нынешний цвет Берлина: фокстрот, а также чарльстон, квикстеп и шимми, внедрившиеся в Германии, — происхождением своим обязаны Африке, хотя бытуют и другие мнения (например, что США из-за комплекса вины отдали почетную пальму первенства афро-американцам). От вторжения «дикарских» танцев и произошло роковое смешение красок.

Эта мысль, как уже говорилось, не является у Белого новой. Рассуждая о восточной угрозе, а, может быть, и южной (здесь важно не перепутать стороны света), Белый ещё в 1901 году восклицал в «Симфонии» (2-й драматической): «Негр, негр! Конечно, негр! Черномазый, красногубый негр — вот грядущий владыка мира». Тогда, в начале века в моду вошел танец американских чернокожих кэк-уок (кекуок). В художественном сознании Белого танец также приобрел символическое значение чуть ли не гибели цивилизации. В 1905 году в стихотворении «Пир» («Пепел») он писал:

И, проигравшийся игрок,  
Я встал: неузвимо строгий,  
Плясал безумный кэк-уок,  
Под потолок кидая ноги.

В 1907 году в статье «Штемпелеванная калоша» Белый эмоционально сообщил о событиях 1905 года:

«Когда Москва обливалась кровью в декабре, и красное зарево пожара сияло над городом, — у Палкина красные неаполитанцы бренчали кэк-уок. Это был не просто кэк-уок: это был кэк-уок “над бездной”». Кэкуок стал для Белого символом дикарства двадцатого века: «... танцевали мы кэк-уок, негрский танец; и «кэк-уоком» пошли мы по жизни (...) печать «Кэк-уока» и «Танго» — отпечатались на всём проявлении — в нашей жизни; и она — печать дикаря, которого якобы цивилизацией рассосала Европа; не рассосала — всосала: его огромное тело в своё миниатюрное тельце».

В романе «Петербург» находим в изобилии те же максимы: «Помнится, в тот период пришлось ему развить парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период истории изжитого гуманизма закончен, и культурная история теперь стоит перед нами, как выветренный трухляк: наступает период здорового зверства, пробивающийся из темного народного низа (хулиганство, буйство апашей), из аристократических верхов (бунт искусств против установленных форм, любовь, любовь к примитивной культуре, экзотика) и из самой буржуазии (восточные дамские моды, кэк-уок негрский танец; и — далее); Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов; проповедовал он и признание монголов (впоследствии он испугался монголов). Все явления современности разделялись им на две категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маской утонченности (явление Ницше и Ибсена) и под маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах.

Александр Иванович приглашал поносить маски и открыто быть с хаосом.

Помнится, это же он проповедовал и тогда, в гельсингфорсской кофейне; и когда кто-то спросил его, как отнестся бы он к сатанизму, он ответил:

— «Христианство изжито: в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, то есть здоровое варварство...»

Спустя двадцать лет Европа охвачена чёрным интернационалом, который — продукт разложения буржуазной культуры, ведущий к «дикарству». Настоящей истории человечества никто не знает, говорит Белый. Например, и остров Пасхи, и Африка в прошлом обладали высокой цивилизацией, которая, распавшись, породила дикарей. Ныне живущие племена и расы, согласно археологическим и этнографическим раскопкам, не связаны с человеческой эволюцией, поскольку эволюция на самом деле — редукция к атавизму. Однако Белый преднамеренно, ради литературной спекуляции, как будто бы запутался в «своих» наболевших проблемах «Восток — Запад», в своем единороге, приобретавшем, в зависимости от обстоятельств, различную окраску. Вот как он в 1924 году пытается свести «интернациональные» концы с концами:

«Я всю жизнь называл себя западником; неоднократно писал я о скудости славянофильства; явления так называемого «русского духа» мне были враждебны; я чужд был всех привкусов национального самодовольства; переживания пресловутого настроения «русские шапками де закидают Европу» — претили мне.

«В ритме фокстрота, в мире морфия, кокаина, во всей беспардонности организованного хулиганства, которому имя сегодня «фашизм», завтра может быть имя — Канкан. Канкан — негрский город, разрушаемый некогда авангардом европейских хищников, — воскресает...»

Атавизм, чрево, прошлое — и есть хаос. В приведенном ниже отрывке, Андрей Белый уделяет большое внимание Франции как «черной» угрозе. Французское правительство вербовало в солдаты жителей африканских колоний Франции; впоследствии они участвовали в Первой мировой войне. Для Белого этот факт — предвестие катастрофических перемен.

Не следует забывать, что сборник очерков «Одна из обитателей царства теней» был издан в 1924 году. Изречения Белого звучали расистски, что не соответствовало законам Советской республики (хотя слово «негр», ныне некорректное, тогда не считалось оскорбительным и являлось языко-

вой нормой). Выпады Белого против Франции соответствуют враждебным отношениям России и Франции в то время. Белый ещё не умел подыгрывать цензуре, хотя и пытался (отпуская комплименты Троцкому, который, тем не менее, его не пощадил), он ещё до конца не понимал, насколько опасна цензура республики.

*ЭКСКУРС: Почему Берлин серо-бурого цвета (По страницам книги очерков Андрея Белого о Берлине «Одна из обитателей царства теней»):*

«Негр» в Европе породил ужаснейшее событие, никогда не бывшее в мировой истории. Европа несколько лет сотрясалась не ритмами бетховенских симфоний, а ритмами пушечных перекаатов, гуденьями автомобильных гудков, скрежетанием крыльев пропеллеров; эта адская музыка воспитала и революцию, и ... «негра» — одновременно — в сознании европейского человечества; «маски» покоя, комфорта и мира теперь были сброшены; одновременно явились во всей своей четкости перед лицом обывателя: и «негр», и «революционер»; оба несли справа и слева удар в середине стоящему обывателю; под молотом титанов подземных (пролетариата) сотрясался пол обывательской «хаты с краю», а потолок этой хаты проломан был падением вершин над ним занесенной жизни; в проломленный потолок упал на него тот, кто стал ныне образом с ним живущего «негра»: «негра» в Европе. Не случайно, что в годы этой войны впервые «негры» явились в Европе в виде организованных полков нигерийской пехоты; этих негров видала Германия; и Одесса видала их; до ныне ещё созерцает Рурская область. Те негры суть символы «негризации» нашей культуры; сколькие после войны явились в былую жизнь внутренними «неграми»; Симфония пропеллеров и звуки разрывов «чемоданов», перекликающаяся с начинающейся симфонией гудков, — всё это вызвало новые ритмы в Европе; и эти ритмы себя осознали «фокстротами», «джимми» и «явами», сопровождаемыми дикими ударами негрского барабана «джазбанда»; Европа оказалась охваченной «восточными» танцами, «восточными» ритмами, «восточными» настроениями, где древний огнепоклонник себя изжигает в «фокстрото-поклоннике», где «варварский Дионис», или появление колоний Европы всего цветного мира — в Европе, себя изжигает в повальном отравлении

городского «негра» кокаинами, морфиями, к которым пленительно так призывает утонченный вырожденец Феррер.

Эта мода к востоку, пребывавшая в скрытом состоянии до войны, теперь появилась на улице жизни: Берлина, Парижа. Восток современного, буржуазного запада и «негр» фашизма — вот подлинное новое явление берлинской культуры: «чёрный интернационал» распространил свои яды и на Германию. Но центр его — Франция <...>.

Вот что я писал в 1912 году.\* «Вы не знаете Франции: — европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке и отломанный от африканской земли кручами Гибралтара... Знаю наверно я: никогда не пришло вам на ум точно вымерить Францию; вымерил я: отношение её европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара ... равняется дроби:  $1/22$ ... Все отродия цветнокожих метежуются громкою жизнью, сочатся, хлопочут в артериях организма страны, привлекая кровь нации из головы европейской и знаемой Франции, — в её черное африканское сердце: за Францию, — ту, которую знаем, — мне страшно... <...>. Мои слова «вы не знаете Францию» относимы, конечно же, к Франции буржуазной, в то время стыдливо закрытой вуалью либерализма и сантиментальных вздыханий о «порабощенном Эльзасе»; теперь — Франция узнана: Франция Рура, военных аэропланов, могущих в какой-нибудь час превратить в развалины целый Берлин...»

(...) Скоро в Берлине вам вскроется «негр»; «негр» пробрался с высот дадаизированной культуры в мелко-буржуазную среду берлинских лавочников, хозяек сдаваемых комнат, содержателей пивных, Кельнеров, которых здесь армии (из Кельнеров кофеен, обслуживающих маленькую «Victoria-Luise-Platz», составила бы по меньшей мере добрая полурота) и т. д. Здесь — ритмы фокстрота; и здесь — кокаин; и здесь сладострастное ожидание реванша, заставляющее с надеждою обращать внимание на «Sowjetrussland», на красную армию; и эти надежды одновременно переплетаются со страхом перед большевистской опасностью.

\* Все приводимые выдержки из II тома «Путевых заметок», доселе не могущих появиться в свет, из главы «Двадцать две Франции». (Комментарий А. Белого).

## 6

### Цветаева и Белый

*И пространство ответило:  
«Уже нет теперь ни пафграфов,  
ни правил!»*

В июне 1921 года Цветаева узнала от Ильи Эренбурга, что её муж Сергей Эфрон, пропавший без вести в годы гражданской войны, жив и находится в Чехии. Она ещё получила от Сергея письмо, при виде которого, по её собственным словам, «закаменела». Ему удалось в Крыму сесть на корабль и добраться до галлиполийского лагеря под Константинополем, где нашли приют многие русские беженцы. Он писал ей: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...»

Кажется, появлялась возможность после четырёх лет разлуки встретиться с мужем в Берлине и соединиться, наконец, с ним, и жить единой семьёй.

Марина Цветаева приехала с дочерью Алей из Москвы в Берлин 15 мая 1922 года. Вначале поселились у Эренбурга на Прагерплатц в большой тёмной комнате, заваленной книгами, служившей Эренбургу кабинетом, где предстояло жить некоторое время до приезда Сергея Эфрона. Наконец, после четырёх суток пути, можно было отдохнуть — всю дорогу до Берлина Цветаева почти не спала. «Как ни проснешься ночью, — вспоминала впоследствии дочь Цветаевой Ариадна Эфрон, — всё видишь её бессонный профиль на фоне чёрного окна, за которым, не отставая, катилась большая белая луна».

Перспектива жить среди чужих вещей не смущала Цветаеву — она давно привыкла к трудностям бытия и быта. После революции 1917 года она с двумя маленькими детьми брошена была в стихию хаоса тогдашней Москвы, военного

коммунизма, голода и террора. Москва — позади, быть может, навсегда, — она не намеревалась туда возвращаться.

За окнами — многолюдная площадь, беспокойный город «падает на душу», как сказал бы Андрей Белый, и «мучает её жестокосердной праздною «мозговой игрой», и русскому поэту здесь достаточно места для творчества, поскольку незримый мир наполнял Берлин образами прошлого, и он, город, — «заколдованное место» не только для героев Гофмана, Клейста и Гейне, но и для поэта двадцатых годов двадцатого века. Что ж, Берлин, так Берлин.

Цветаева ещё не знала, что, оказавшись у Эренбурга в «Прагерпансионе» на Прагерплатц, получила существенное для поэта неожиданное преимущество, поскольку это и был центр, «фокус» русского поэтического Берлина: кафе «Прагердиле», располагавшееся в нижнем этаже пансиона, притягивало по вечерам, словно магнитом, соотечественников-литераторов и стало своеобразным центром русской литературной и издательской жизни. «Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz, — вспоминала Марина Цветаева. — Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падёт в цене.) Сижу частью круга, окружающего».

В «Прагердиле» у Ильи Эренбурга был постоянный столик («штаммтиш»), за которым он на машинке печатал свои первые романы, Андрей Белый здесь *проводил время* или, как он говорил, «прагердильствовал», а Владислав Ходасевич написал стихотворение «Берлинское».

...За окном кафе — осенний дождливый вечер, в неожиданном для ненастной погоды многообразии цветовых эффектов он претерпевает фантастические метаморфозы. Берлинские сумерки по ту сторону стекла обступают ярко освещенный аквариум кафе, в который с любопытством заглядывают прохожие. Эмигранты, как экзотические рыбки, взирают на чужой им мир, среди них лирический герой, он же автор. Однако в стихотворении Ходасевича кафе — мир внутренний, и Берлин — мир внешний, меняются местами. Замкнутое пространство кафе как бы вырастает

и разворачивается, заключая немецкую реальность в диковинный стеклянный сосуд, по которому движутся золотые рыбки трамваев, карет и пешеходов.

А там, за толстым и огромным  
Отполированным стеклом,  
Как бы в аквариуме тёмном,  
В аквариуме голубом —

Многоочитые трамваи  
Плывут между подводных лип,  
Как электрические стаи  
Светящихся ленивых рыб.

Неудивительно, что здесь, в кафе «Прагердиле», за стеклами которого мир ненадолго становился витриной, живой декорацией, по воспоминаниям Ариадны Эфрон, «как ни в чём ни бывало «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира».\*

---

В свой первый берлинский вечер, 15 мая 1922 года, Марина Цветаева встретила в кафе «Прагердиле» того, кому двенадцать лет спустя в Париже посвятит одно из самых блестящих своих прозаических произведений — эссе «Пленный дух». Поводом к написанию «Пленного духа» послужило известие о кончине Андрея Белого 8 января 1934 года.

10 января 1934 года в Москве Мандельштам стоял в почетном карауле у гроба Белого. Впечатления этого дня легли в основу написанного им стихотворения, где он говорит о сиротстве поэта — одной из ведущих тем «Пленного духа». Разумеется, у Цветаевой тогда в Париже не было возможности прочитать ошеломляющие своим величием и трагизмом стихи Мандельштама — плач по Андрею Белому:

\* Воспоминания о Марине Цветаевой. Сост. Мнухин Л., Турчинский Л., М., 1992.



Марина Цветаева в синем деревенском  
платье (бауэркляйд) с дочерью Ариадной.  
1923 год.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,  
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек:  
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

.....  
Меж тобой и страной ледяная рождается связь,  
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямясь.  
Да не спросят тебя молодые, грядущие, те —  
Каково тебе там, в пустоте, в чистоте-сироте...

Однако несомненно — и Цветаева, и Мандельштам на-  
ходились под впечатлением стихов самого Белого:

Полный радостных мук,  
утихает дурак.  
Тихо падает на пол из рук  
сумасшедший колпак.

«Затравленность и умученность, ведь вовсе не требуют  
травителей и мучителей, для них достаточно самых про-  
стых нас». Эти строки, обращенные к Андрею Белому в эссе  
«Пленный дух», Цветаева относила и к себе. Незадолго до  
эмиграции она написала стихи о роковом и вневременном  
одиночестве поэта, где «повторяет» мысль Мандельштама  
и Белого о юродствующем поэте, чуть ли не уроде, шуте  
гороховом:

Как нежный шут о злом своем уродстве,  
Я повествую о своем сиротстве...

За князем — род, за серафимом — сонм,  
За каждым — тысячи таких, как он,

Чтоб, пошатнувшись, — на живую стену  
Упал и знал, что — тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд,  
За вором — сброд, а за шутом — всё горб.

Так, наконец, усталая держаться  
Сознанием: перст и назначением: драться,

Под свист глупца и мещанина смех —  
Одна из всех — за всех — противу всех! —

Стою и шлю, закаменев от взлету,  
Сей громкий зов в небесные пустоты,

И сей пожар в груди тому залог,  
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

Одиночество поэта, прозвучавшее в стихотворении «Роландов рог», оказалось не только знаком избранности лирического героя Цветаевой, но и причиной его трагедии. «Поэт со своим даром — как горбун с горбом, — писала Нина Берберова, комментируя это стихотворение, — поэт на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт — на льдине в океане, всё это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность». Суждение Берберовой, возможно, категорично и несправедливо, однако оно особенно интересно потому, что сама по себе писательница, являясь антиподом и Цветаевой, и Белому в своем отношении к жизни, была личностью необычайно сильной, не позволявшей никаким обстоятельствам себя согнуть.

Однако в контексте таинственных «дел» Белого, его безудержного влечения к мистическим знаниям, слово «дурак» означает не только поэта-отщепенца, его сиротство и вневременное одиночество. В таинственных картах Таро (якобы привезенных тамплиерами из Египта), принадлежащих оккультному миру, нулевая карта — это дурак, шут, который является инициатом, то есть посвященным. В литературной традиции (особенно в драмах Шекспира) маска клоуна — прикрытие, дающее возможность высказаться, произнести то, что другим не положено.

Цветаевский образ поэта-птицы Феникс\*, готовой к самосожжению, глубоко чужд Берберовой. Впоследствии

\* Волшебная птица, согласно легенде, рассказанной Геродотом, раз в 500 лет умирает, сжигая себя на жертвенном огне и каждый раз вновь возрождается из пепла.

в автобиографическом романе «Курсив мой» она писала: «Мне хотелось писать, я искала всевозможные пути индивидуального, но я никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня — ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила самое жизнь».

---

С Белым Цветаева встречалась не раз еще в юношеские годы, и относилась к нему с почтительным восхищением. Видела она его, как правило, издали, в созданном группой символистов московском издательстве «Мусагет». «Мусагет», названный в честь Аполлона (водитель муз), насквозь пропитанный теософией, а затем и антропософией, просуществовал с 1909 по 1917 год. Среди участников «Мусагета», как уже говорилось, был Эллис, которому Цветаева посвятила поэму «Чародей», страстный поклонник Рудольфа Штейнера, а затем и страстный его разоблачитель. Цветаева хорошо помнила Белого в «Мусагете». «Он — у преподавательской чёрной доски с мелом в руке, над ним портреты «советника Гёте» и доктора Штейнера, во все свои глаза глядевшие и не глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста все — символ. *He* — символов — нет».

Белый уже находился под влиянием Рудольфа Штейнера и с большим успехом распространял среди московской интеллигенции его учение. Разумеется, он тогда не мог предположить, что когда-нибудь, в трудный для него период жизни в эмиграции, они со Штейнером разойдутся навсегда. Цветаева не случайно с горькой иронией подчеркивает символизм и пророческий смысл сцены в «Мусагете»: Белый танцует перед портретом Рудольфа Штейнера, как царь Давид перед ковчегом, где хранились Моисеевы скрижали с десятью заповедями.

Штейнер, который в свою очередь считал себя учеником Гёте, идол новой философии, чьи «заповеди» Белый страстно проповедует, потом отвернется от него, и именно это

**обстоятельство** не в последнюю очередь станет причиной возвращения Белого в большевистскую Россию. Цветаева помнила стихотворение Белого «Созидатель»:

Над душой твоей повисли  
Новые миры, поэт.  
Всё лишь символ... Кто ты? Кто ты?

Мир — Россия — Петербург —  
Солнце — дальние планеты...  
Кто ты, кто ты, демиург?..

«Всё лишь символ», — говорит Белый. «*He* — символов — нет», — отвечает Цветаева. Отделяя себя от мистических московских кружков, всячески подчеркивая свою независимость от чего бы то ни было, называя себя пассивным наблюдателем, Цветаева все же понимала «трансцендентную» их сущность, о чем красноречиво говорит ее письмо Пастернаку от 9 февраля 1927 года, спустя сорок дней после смерти Рильке, в котором она повествует ему о своем сне: «... Зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, весь пол утыкан. Платье длинное, надо пробежать, не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая — много людей в чёрном, узнаю Р. Штейнера (видела раз в Праге) и догадываюсь, что собрание посвященных (...). Словом, я побывала у него (у Рильке — М. П.) в гостях, а он у меня. Вывод: если есть возможность такого спокойного, бесстрашного, естественного, внетелесного чувства к «мёртвому» — значит, оно есть, значит, оно-то и будет там. Ведь в чём страх? Испугаться. Я не испугалась, а первый раз за всю жизнь обрадовалась мертвому. Да! ещё одно: чувство тлена (когда есть) очевидно связано с (приблизительной) деятельностью тлена; Р. Штейнер, например, умерший два года назад, уже совсем не мертвый, ничем, никогда».

---

Цветаева и Белый сблизились на чужбине. В «Пленном духе» Цветаева цитирует письмо Белого, присланное ей из

Цоссена на следующий день — это следует из текста — после их встречи в кафе. Письмо датировано: «Zossen, 16 мая 22 г». Стало быть, именно 15 мая, в день приезда, и произошла их первая встреча.

В «Пленном духе» Цветаева вспоминает об их первой встрече в «Прагердиле»:

«И вдруг через все — через всех — протянутые руки — кудри — сияние:

— Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив!»

Казалось, Белый не замечал Цветаеву в Москве, однако, как выясняется теперь, за столиком в кафе на Прагер-платц, он многое о ней знает и помнит. (Белый не мог не знать Цветаеву уже потому, что его друг Эллис, которого он не видел много лет, — ныне пребывавший в Швейцарии, был когда-то её возлюбленным и даже намеревался на ней жениться, но получил отказ).

«...Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно. Я все детство слышал о вас, всё *ваше* детство...» — говорит ей Белый.

Белый, оказывается, помнит, что Цветаева из профессорской семьи; стало быть, они оба объединены семейным сходством.

«Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo».

Присутствующие молча удаляются, оставляя их одних, и оба вспоминают прошлое и счастливы. Белый сказал ей: «Но оставим *профессорских* детей, оставим только одних *детей*. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе): — все равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? — сироты и поэты. Вот!»

Абрам Григорьевич Вишняк, редактор «Геликона», передал Андрею Белому экземпляр нового поэтического сборника Цветаевой «Разлука», выпущенного до её приезда, весной 1922 года. Белый читал в Цоссене книгу весь вечер. На следующее утро Цветаева получила от него письмо:

*Zossen, 16 мая 22 г.*

*Глубокоуважаемая Марина Ивановна.*

*Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».*

*Я весь вечер читаю — почти вслух; и — почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.*

*А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга первая (это — безусловно).*

*Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я своё впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?*

*И — нет, нет; я с большой скукою развертываю новые книги стихов. Со скукою развернул и сегодня «Разлуку». И вот — весь вечер под властью чар её. Простите за неподдельное выражение моего восхищения, и примите уверения в совершенном уважении и преданности.*

Под властью чар стихов Цветаевой Белый написал статью о сборнике «Разлука», которую назвал «Поэтесса-певица», и опубликовал её в газете «Дни». Статья Белого появилась и в русской берлинской газете «Голос России» от 21 мая. Белый писал:

*«...если Блок есть ритмист, если пластик по существу Гумилев, если звучник есть Хлебников, то Марина Цветаева — композиторша и певица... Мелодии... Марины Цветаевой неотвязны, настойчивы... Мелодию предпочитаю я живописи и инструменту; и потому хотелось бы слушать пение Марины Цветаевой лично... и тем более, что мы можем приветствовать ее здесь в Берлине».*

Белый познакомил Цветаеву с сотрудником пражского журнала «Воля России» Марком Слонимом, ставшим одним из самых верных и постоянных друзей Цветаевой.

«Статьей и устной хвалой не ограничился, — вспоминала Цветаева. — Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы устроил две мои рукописи: «Царь-девицу» в «Эпоху» и «Версты» в «Огоньки», подроб-

но оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий — для другого смог».

Некоторое время они встречаются постоянно. В пригороде Берлина Цоссен, о котором неоднократно упоминалось, Белый поселился на Штубенраухштрассе — прямой магистральной, начинающейся у вокзала с названием Банхофштрассе и заканчивающейся с противоположной стороны полем, а затем шоссе — дорогой уходящей вдаль. Одноэтажный дом — при Белом под номером 68 — сохранился. Сейчас это Штубенраухштрассе, 37.

Белый посвятил Асе Тургеневой большую часть цоссенских стихов сборника с красноречивым названием «После разлуки». Цветаева опубликовала в Берлине в издательстве «Геликон» поэтический сборник «Разлука», стало быть, сборник стихов Белого — переключка с цветаевским. И в то же время стихи, созданные Белым в Цоссене — следствие трагической разлуки с женой Асей Тургеневой.

Белый приезжает из Цоссена в Берлин навестить Цветаеву на Траугенауштрассе, 9. Здание знаменитого бывшего пансиона Элизабет Шмидт, где селились русские эмигранты — с двумя эркерами и черепичной крышей — было построено в начале века с претензией на «югендстиль», о чем ещё напоминают сохранившиеся на лестничных площадках витражи на окнах и остатки растительного орнамента на стенах внутри подъезда. Оно, пожалуй, единственное из памятных «русских» зданий сохранилось без изменений. Сохранились и заштукатуренные балконы, характерная и неизбежная деталь берлинского городского пейзажа; это они напоминали Набокову выдвинутые ящики стола, которые забыли задвинуть. Один из этих балконов летом 1922 года принадлежал Цветаевой, и она его в письмах называла «своим», написала стихотворение «Балкон».

Дом выходит фасадом на Траугенауштрассе, которую Ариадна Эфрон в мемуарах определила как «чистенькую, безликую и солнечную». Облик улицы с однообразными домами и такими же балконами-ящиками до настоящего времени не изменился — она такая же чистенькая, безлюдная и безлика. Этот дом отмечен был в ноябре 1996 года мемори-

альной доской, о чем я уже сообщила читателям во вступлении. Тогда впервые в Германии кириллицей было заявлено о русском поэте. (Доска претерпела всевозможные приключения, о чем я рассказала подробнее во втором издании своей книги о Цветаевой «Флорентийские ночи в Берлине»).

In diesem Haus wohnte 1922  
Die russische Dichterin  
Marina Zwetaewa (1892-1941)

В этом доме жила  
Марина Цветаева в  
1922 г.

До Цветаевой, в том же 22-м году, в той же квартире, состоящей из двух небольших комнат, жил с женой Илья Эренбург, который затем и предложил ее Цветаевой, переехав на Прагерплатц, а в 1924 году в Траутенау-хаузе (дом ещё и так называли) незадолго до женитьбы на Вере Слоним (она и наша будущему мужу жиле недалеко от своего дома), поселился двадцатипятилетний Владимир Набоков — *в пору работы над первым романом «Машенька»*. Таким образом, мы можем «планировать» доски (или одну доску на всех), посвященные ещё и Эренбургу, и Набокову. Предлагаю ещё одну доску с приблизительной надписью: *В этом доме в 1922 году часто бывал выдающийся русский писатель и поэт Андрей Белый.*

Цветаева на нынешней мемориальной доске не титулована как поэт, поскольку, вероятно, русскому человеку и так всё понятно про Цветаеву — имя, что называется, народное. Вероятно, так было объяснено, поселившемуся в этом доме, Фридберту Флюгеру (Dr. Friedbert Pflüger, Fraktionsvorsitzender), заново установившему такую же доску в июле 2008 года.\*

\* Возможно, возникли разногласия при написании высокого звания — «поэта» («поэт», или «поэтесса»). Некоторые цветаеведы (возможно, консультирующие Флюгера) почему-то считают, что на русском языке слово «поэтесса» звучит жеманно и даже неприлично, что не соответствует истине. С этим словом следовало бы, наконец, определиться.



Берлин, Траутенауштрассе, 9. Дом, где жила Марина Цветаева в июне – июле 1922 года.

Мемориальная доска Марине Цветаевой, установленная вторично (первая — 6 ноября 1996 года) 17 июля 2008 года.



Открытие первой мемориальной доски Марине Цветаевой в 1996 году. В центре — писатель Ф. Горенштейн.

Однако Цветаева, которую Фридрих Горенштейн во вступительной статье к моей книге о Цветаевой «Брак мой тайный...»<sup>\*</sup> справедливо назвал «гордой королевой», считала себя избранной, «по тому жестокому закону исключительности, в которую, родясь, вышагнула...» Она почитала за честь величать себя полным титулом: *поэт Марина Цветаева*.

(Повторяю: льщу себя надеждой, что на фасаде дома №9 на Виктория-Луизаплац (Viktoria-Luise-Platz) появится мемориальная доска, посвященная Андрею Белому, Владиславу Ходасевичу, и Нине Берберовой).<sup>\*\*</sup>

Немногочисленные друзья, появившиеся у Цветаевой в Берлине, вероятно, посещали её в этом доме. Что же касается Андрея Белого, то его иногда (он несколько раз опаздывал на последний поезд в Цоссен) оставляли здесь ночевать. Цветаева (в «Пленном духе») рассказывает, что в одну из таких «ночевок» Белого у них остался на ночь и пятилетний сын издателя. Судя по всему, это был сын Вишняка Серёжа. Дети — Аля и «издательский сын» — решили, как водится, напракаться и, пробравшись в комнату Белого, положили ему в постель резиновых зверей, наполненных водой. Наутро Белый вышел к столу радостный, с видом победителя.

«Нашёл! Нашёл! Обнаружил, ложасть, и выбросил — полными. Я на них *не* лёг, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... какого-то живота. (Шёпотом) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

— Моя свинья.

— Ваша? И вы её... любите? Вы в неё... играете? Вы её ... берёте в руки? (Уже осуждающе:)— Вы можете взять её в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или ещё хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в неё играете?

\* Мина Полянская. «Брак мой тайный...». Марина Цветаева в Берлине. М., 2001.

\*\* Михаил Осипович Гершензон, историк русской литературы и общественной мысли, лидер партии «кадетов», приятель Белого в 1922 году со своей семьей также жил на Виктория-Луизаплац, 9. Окна его квартиры выходили на площадь.

Ошеломлённый «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно *глочет*. Белый, оторвав от него невидящие (свинным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

— Я... не люблю свинью... Я — боюсь свинью!..

Этим ю как перстом или даже копьём упираясь в свино-рыльный пятак».

В один из приездов в Берлин Белый оставил Цветаевой письмо, которое она переписала в тетрадь «Письма друзей»: «Zossen, 24-го июня 1922 г.»:

*Моя милая, милая, милая, милая*

*Марина Ивановна.*

*Вы остались во мне, как звук чего-то тихого, милого: сегодня утром хотел только забежать, посмотреть на Вас, и сказать Вам: “Спасибо”... В эти последние особенно тяжёлые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия, и меня, как маленького, так тянет к Вам. Так хотелось только взглянуть на Вас, что уже когда был на вокзале, то сделал усилие над собой, чтобы не вернуться к Вам на мгновение, чтобы пожать лишь руку за то, что Вы сделали для меня. Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и — ни от чего. А другие — приносят тяжесть. И прежде еще, в Москве, я поразился, почему от Вас веет — теплым, ласточкиным весенним ветерком. А как Вы приехали в Берлин и я Вас увидел, так совсем повеяло весной. А вчера?.. Знаете ли, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей: всею душой моей оттолкнулся навсегда от нее. И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до фруди была пустота; и так я с утра до вечера ходил по Берлину, не зная где приткнуться с чувством, что 12 лет жизни оторваны; и конечно, с этим куском жизни оторван я сам от себя. И заходил в скверы, тупо сидел на лавочке, и заходил в кафэ и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером, — опять повеяло вдруг, неожиданно от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина — есть; и что*

ничто не погибло. Голубушка, милая, — за что Вы такая ко мне? Мне даже жутко: помните, что теперь как-то со мной то, что в словах Дельвига:

*Когда, душа, просилась ты:  
Погибнуть, иль любить...*

Я ведь только тогда могу жить, когда есть для кого жить и для чего жить.

И вот сегодня проснулся, а в сердце — весна: что-то окончательно оторвалось от сердца (и катится глухими провалами), и сердце, сердце обращено к свету; и легко: и милый ветерок весны; и — ласточки! И это от Вас: не покидайте меня Духом.

Б. Бугаев.

Р. С. Напишите, как можно Вас увидеть: мне ведь надо еще с Вами переговорить о деле (о «Эпохе», Вашей поэме и т. д.). Можно увидеть Вас?

Я бы приехал во вторник, в среду... Или приезжайте ко мне: хотите, если Вы не приедете ко мне в понедельник, я приеду к Вам во вторник; и буду у Вас часов в 5-6 (мой поезд идет в 9 ч. 28 вечера). Мне так было бы легко: а то, когда приедешь в Берлин, и сутками шатаешься по улицам, — то охватывает тоска...

Итак, жду Вас в понедельник, если не будете, буду у Вас во вторник: в 5 1/2 ч. ?

Июльскими вечерами Марина возвращалась домой на Траутенауштрассе в своём «берлинском» синем платье — образ, записанный в «Пленном духе». Андрей Белый встретил однажды Марину такими словами: «Мне так хочется завидеть вас издали синей точкой на белом шоссе — так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! — сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная... Знаете, синяя тень, наполненная небесной лазурью».

---

Марина и Аля посещают Белого в мрачном Цоссене. «Пустынно. Неуютноворожденного посёлка, — рассказывает

Цветаева, — новосотворенного, а не рождённого. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили — стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-неживые. Постройки, а не дома... И странное население. Странное, во-первых, чернотой; в такую жару — все в чёрном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В чёрном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами — и, кажется, венками? — на толстых животах. Цветы — лиловые.

Наконец — дом, всё тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце с крыльца:

— Вы? Вы? Родная! Родная!

Белый вводит их в совершенно пустую комнату с некрашеным столом посредине, усаживает и продолжает:

— Как вам здесь нравится? Мне... не нравится... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья?.. Без тени! Это человек был без тени — в каком-то немецком предании, но это был человек, деревья — обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют — понятно: в таких деревьях!»

Белый говорит ей, что люди здесь подозрительны — все носят только чёрное, ступают тихо, мебель у них одинаково белая и пахнет свежим тесом, и в этом, по его мнению, есть что-то зловещее, так что не исключено, что он поселился в каком-то *особенном* поселке. Цветаева пытается его успокоить объяснением, что после войны везде так.

Ах, вот оно что? Теперь ему понятно, что он попал во вдовый поселок. «Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? — спрашивает Белый. — Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки...



**Клавдия Васильева.**



**Вера Лурье.**



**А. Г. Вишняк с сыном  
Серёжей.**

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, — в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фургонами... Вы таких не встречали? Полные фургоны чёрных людей... Немецкий корпорационный дух: и слёзы вместе, и расходы вместе...»

В письме к Пастернаку Цветаева сообщала (19 ноября 1922 года): «Жил он... в поселке гробовщиков и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в чёрных перчатках».

Спустя 12 лет Цветаева создаёт в своем воспоминании-реквиеме картину берлинского пригорода, в котором, кажется, витает дух кафкианского «Замка» со всей абсурдностью, жуткой фантазмагорией, свойственной Францу Кафке. Эмиграция Белого обернулась переходом в антимир, пахнувший тесом свежеструганных гробов, где чёрные люди ступают бесшумно, словно в войлочных тапочках, а чахлые деревья не отбрасывают тени. Это Петер Шлемиль в повести Шамиссо не отбрасывал тени, поскольку продал её дьяволу. Человек без тени для Белого — пусть литературная, но реальность. Но деревья без тени становятся аномалией и реального, и внереального ряда.

«Жить здесь нельзя», — заключает Цветаева, как бы подводя итог существованию Белого в цоссенском кошмаре. Но где же ему существовать физически? В «Пленном духе» Белый, сидя за столиком в кафе «Прагердиле», говорит Цветаевой: «Я как беспризорный пёс шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места... Я всегда должен пить кофе... Я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет».

Андрей Белый уехал в Россию, по мнению Цветаевой, внезапно. Цветаева к тому времени находилась уже в Чехии. «Прощания вовсе не было, — пишет Цветаева, — было исчезновение».

«Но был ещё один привет — последний. И прощание всё-таки было — и какое беловское!»

В Чехии Цветаева получила от Белого письмо с просьбой помочь ему устроиться там — неподалеку от нее. По

странному стечению обстоятельств, письмо пришло в тот самый день, когда сам он отбыл в советскую Россию. Лишь спустя двенадцать лет, уже после смерти Белого, Цветаева узнала, что в Цоссене (само слово Цоссен вызывало у Белого неприязнь: «Острое и какое-то плоское, точно клетка»), где, кажется, невозможно творить, он посвятил ей стихотворение, вошедшее в сборник «После разлуки».

Сергей Эфрон сообщил Цветаевой, что этим стихотворением Белый завершил свой сборник. «Единственное посвящение. Больше никому нет», — подчеркнул Эфрон.

«Все ещё не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М. И. Цветаевой

Неисчислимы  
Орбиты серебряного прискорбья.  
Где праздномыслия  
Повисли тучи.  
Среди них —  
Тихо пою стих  
В неосязаемые угодия  
Ваших образов.  
Ваши молитвы —  
Малиновые мелодии  
И —  
Непобедимые  
Ритмы.

Цоссен, 1922 год».

Удивительно (а на самом деле, неудивительно), как Цветаева, в отличие от многих современников, воспринимавших Белого с неизменной и даже привычной иронией, поняла и глубоко приняла состояние этого рыцаря-изгнанника, как серьёзно и точно — художественно точно — описала его трагедию: «Серебро, медь, лазурь — вот в каких цветах у меня остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девятьсот двадцать второго лета».

## Прощание с Берлином

*Берлин влит в мою душу, ко мне присосался, как спрут; из него я бежал.*

Пламя неповторимого русского литературного Берлина двадцатых годов постепенно угасало. Как сказал некогда поэт: «Кончен пир, умолкли хоры». Начавшийся в 1923 году экономический кризис, сопровождавшийся катастрофической инфляцией доллара, буквально разрушил культурную жизнь города: русские издательства и книжные магазины, возникшие с невероятной быстротой, словно из воздуха, закрывались одно за другим. Дух разрушения ощущался во всём, и невозможно его было остановить.

«Невозможно жить в атмосфере всеобщего разложения, — писал Белый, — среди хвостов, растущих, как фараоновы змеи, при меняльных лавках, среди бубнящих звуков фокстрота с аккомпанементом к нему в виде припева: «Der Dollar steht hoch».

И литераторы поспешно покидали Берлин, как правило, отправляясь в Париж. Просматривая эмигрантские газеты 1920 — 1923 годов, понимаешь, насколько противоречивый и неоднозначный образ Советской республики мог сложиться у читателя в Западной Европе. В Берлине активно работала целая пропагандистская сеть, пытавшаяся представить жизнь при Советах в благоприятном свете.

Террористические акты так же, как и красная пропаганда («обольстительно пела большевистская флейта»), подталкивали эмиграцию к возвращению. По некоторым сведениям только в 1921 году в Россию вернулось более 120 тысяч беженцев. «Месяцы проходили один за другим, — вспоминал Вадим Андреев, — большевики оставались в Кремле, марка прекратила своё падение, издатели разорились, дельцы после неудачной операции на русской

литературе вернулись на биржу играть «на повышение», и «русский Берлин» пошел прахом. Горький жил теперь в Италии, Алексей Толстой вернулся в Россию, за ним последовали Андрей Белый, Эренбург, Шкловский... Оставшиеся перебрались либо в Париж, либо в Прагу, от сумасшедших берлинских лет осталось только воспоминание как о невероятном фейерверке — как будто в одну ночь сгорела целая фабрика бенгальских огней».

В объёмной монографии «Андрей Белый — мистик и советский писатель» Моники Спивак, директора мемориальной квартиры-музея Андрея Белого, приведены сведения из материалов следственного дела об аресте антропософов в 1931 году, об обстоятельствах отъезда Белого из Берлина в Россию. Автор доказывает, подтверждая документом, что возвращение осуществлялось именно по антропософским каналам, о чём берлинские литературные друзья почти ничего не знали (разве что осведомлен был Ходасевич, которому, кажется, Белый рассказывал многое). В январе 1923 года в Берлин приехала давняя знакомая Белого, в будущем его жена, антропософка Клавдия Николаевна Васильева. Петр Зайцев свидетельствует, что приехала она для того, чтобы уговорить Андрея Белого вернуться. Такого же мнения придерживались многие эмигранты. Обнаружились документы, а именно в архивах — ОГПУ, свидетельствующие, что, кроме этой причины приезда Васильевой была и другая: Васильева, выражаясь языком политического детектива, была связной, о чём свидетельствуют материалы следственного дела «о нелегальной контрреволюционной деятельности», по которому Васильева проходила в 1931 году:

«После ликвидации Об-ва\*, руководители такового на специальном совещании обсуждали вопрос о дальнейшей работе в нелегальных условиях. (...) Там же был решен вопрос о необходимости делегировать на предстоящий Съезд антропософов в Германии одну из руково-

\* Русское Антропософское общество было запрещено в 1923 году.

дителей общества — ВАСИЛЬЕВУ К. Н. — со специальным поручением получить установку о том, как строить и вести работу в СССР в нелегальных условиях»\*.

Первый муж Васильевой антропософ Петр Николаевич Васильев был братом жены заместителя председателя ГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Таким образом, родственные связи помогли Клавдии Николаевне выехать за границу. Уже через месяц после приезда в Берлин Васильева сумела помочь Белому примириться со Штейнером.

23 марта Белый отправился на семинар в Штутгарте, где (30 марта) произошёл последний разговор Учителя и бывшего ученика, доставивший Белому некоторое облегчение и умиротворение.

У Ходасевича сохранилось письмо Васильевой Белому, объяснение в любви, сбивчивое, многословное и трогательное, проливающее некий свет на их взаимоотношения:

*Дорогой Борис Николаевич,*

*много думаю о Вас и сколько раз хотела писать. Но не могла. Сидела и передо мной вдруг вставал кто-то далёкий, чужой, заслонял милого, родного, который так близок мне. Слова обрывались и ничего, ничего писать не могла, не могла выразить того, что поднималось в душе. Тот другой мешал. Казалось, письмо не дойдёт, перехватит он его, отбросит.*

*Поймите, Борис Николаевич, мы с Вами говорили о закрытости людей, о гранях, их отделяющих. Когда с Вами была, писала Вам, падали для меня эти грани, говорилось от души к душе, свободно. Сейчас что-то воздвиглось, но не верю, чтобы иллюзией было то чувство раскрытости, общения.*

*Мне нечего писать тому, чужому, далёкому. Перед ним чувствую себя глупой, маленькой, Вы и не поймёте, посмеётесь надо мной.*

*А Вам, Борис Николаевич, сказать много, много надо, даже не сказать, а напомнить о себе, что думаю о Вас, люблю. Дорогой, мой милый. Тут вот самые разнообразные слухи о Вас,*

\* Моника Спивак. Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006.

но как-то кажется, что чувствую, как Вы, потому пишу. Если чуждо прозвучат слова, если пусто — значит, ошиблась и действительно никогда не подойдёт человек к другому, не поймут. Больше чем когда-либо слова не идут, но не в словах дело. Словами не сделаешь ничего.

Нам не дано предугадать,  
Как наше слово\* отзовется,  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать.

Вот то время для меня светом стоит. И теперь, когда Вам трудно, когда, быть может, пусто, хочется навстречу пойти, и многое в Вас закрыто для меня, но чувствую душу Вашу, за Вас молюсь. И второго другого боюсь. Вот пишу и всё-таки двойственно. Хочется договориться до конца, всё своё открыть, а третий мешает. Если не поймёте, значит, виноват он, потому что я говорю правдиво до конца, потому что я для вас на всё готова и ничего не требую. Милый, дорогой, приезжайте. Люблю, люблю Вас. Так соскучилась по Вас, так Вас видеть хочется. Тогда, кажется, всё отпадёт, все трудности, все разделённости.

Вот сейчас совсем с Вами, вот сейчас как будто стоите тут передо мной, и так хочется приласкать, так хочется успокоить Вас, бедного, мятущегося, милого.

Не сердитесь на меня, знайте, что от всей души тянусь к Вам, что мучительно страшно переживала это время, когда застывали слова, писать не могла, и только всей силой чувства устремлялась к Вам огромная волна нежности, любви поднималась.

Молчала, чего-то боялась, теперь не боюсь. Не верю, чтобы так вот, ни к чему. А если ненужное, значит, обманулась. Ничего, ничего не понимаю, только люблю.

(Подпись)

Мне ясней и ясней путь мой. От каких-то смутных чаяний к осуществлению. Я знаю, что надо пронести через жизнь самое дорогое, самое чистое и святое, что трудно это. Пронести над

\* Так в письме. Тогда как у Тютчева: «Как слово наше отзовется».

*жизнью и в ней, как чашу. Тогда не страшно. Во мне что-то поднимается надо мной.*

*Чувствую нити, протянутые людям. Такая нить к Вам идёт. Не обрывайте, не оставляйте её в пустом пространстве.*

*Неужели совсем, совсем забыли?\**

---

Перед отъездом Белого состоялся 8 сентября прощальный обед русских литераторов в русском ресторане на Гентинерштрассе, на котором Белый вдруг объявил тост за самого себя. Он требовал, чтобы пили за него потому, что отбывает в Россию с тем, чтобы, как Христос, быть распятым за всех присутствующих на обеде: за Муратова, Бердяева, Ремизова, Ходасевича. Ходасевич отказался от такой жертвы и заявил, что такого «мандата» дать Белому не может. Разразился скандал. Берберова рассказывает, что пыталась в последний раз пожать ему руку, сказать, что он, Белый, для неё был и будет великим, что его роман «Петербург» бессмертен, но он, увидев её, испугался, закинул голову, как пантера готовая к прыжку. И она отошла в сторону. Больше она никогда его не видела.

---

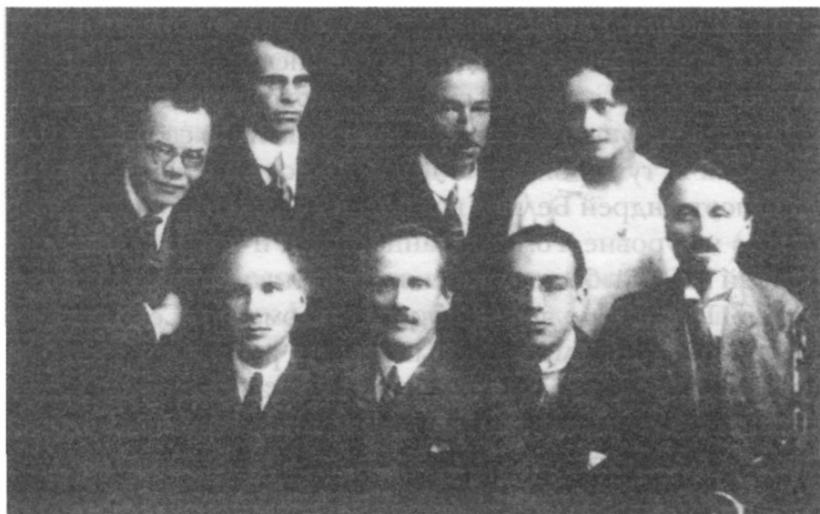
Белого провожала поэтесса Вера Лурье. Эта женщина — ещё один примечательный и грустный эпизод берлинской жизни поэта. Вера Лурье — питомица женской гимназии Таганцевой в Петербурге, член поэтического объединения «Звучащая раковина», созданного Николаем Гумилевым. С 1921 года жила в Берлине, печатала стихи в «Голосе России» и «Днях». С Андреем Белым она познакомилась в Доме искусств, он тогда вручил ей с дарственной надписью экземпляр «Глоссалолии» — «сказку» о творении мира из звука, о пути сближения нашей души с мировой душой. Вот как она описывает своё знакомство с Белым: «В один из вечеров я пришла в кафе, чтобы сделать доклад о петроградской поэзии и о «Звучащей раковине». Я стояла в

\* Н. Берберова. Курсив мой.

центре зала и рассказывала о творчестве и произведениях русских поэтов Петрограда, о «Доме искусств», о Гумилёве и его аресте и казни, о смерти и похоронах Александра Блока. В завершение я прочитала несколько своих стихотворений. И тут произошло невероятное. Знаменитый русский поэт Андрей Белый, который в России был приблизительно на уровне Томаса Манна, встал и подошёл ко мне. Андрей Белый был для меня недостижимой величиной. Ещё в Петрограде я читала два его романа: «Серебряный голубь», в котором рассказывается о религиозной секте, похожей на хлыстов, и «Петербург», написанный ритмизированной прозой, который был пророческой книгой, содержащей предсказание Первой мировой войны и русской революции. Символисты были для меня словно пророки Апокалипсиса».

Вера Лурье впоследствии признавалась, что плохо понимала содержание «Глоссалолии», как впрочем, не понимали его многие другие современники. Однако Белый (по её словам) объяснил ей свою книгу, и она написала рецензию в «Днях». «Глоссалалия (так у Лурье — М. П.), — провозглашала Вера Лурье, — не просто изумительная поэма, но и огромное событие. Белый приоткрывает дверь из нашего мира — в новый мир, полный хаоса, туда, в бесконечность. И да будет встречена эта небольшая поэма не только как художественное произведение». Ещё Вера Лурье опубликовала в «Новой русской газете» рецензию на роман Белого «Серебряный голубь». «Я часто навещала его, — вспоминала она, — заваривала чай, штопала его носки и верила, что очень в него влюблена. Сейчас я думаю, что это было просто преклонением перед известным человеком и гордость, что такая литературная знаменитость делает честь и проявляет столько интереса к скромной поэтессе Вере Лурье». Вера Лурье так же, как и Цветаева, понимала суть «пленения духа» Белого и в стихотворении, посвященном ему (Б. Н. Б.) писала:

Бескрылый дух томится о свободе  
(А в клетке телу тесно и темно)...



Берлин. Проводы Андрея Белого 8 сентября 1923 года.

Слева направо стоят: А. Ремизов, В. Ходасевич, П. Муратов, Н. Берберова.

Сидят: А. Белый, М. Осоргин, А. Бахрах и Б. Зайцев.



Андрей Белый, Вера Лурье (?) и Илья Эренбург. Берлин, 1922.

Вера Лурье посвятила Цветаевой стихотворение:

Цветаевой

*После прочтения «Ремесла»*

Ритмов неизведанных узор  
— Не любовь — звезда моя отныне.  
Загляну завистливо в простор  
«Ремесла» и разом кровь отхлынет.

Милостыню скудную подай,  
Нищая протягиваю руку.  
Грешнице покаявшейся — рай  
Мне одно: пути в твою «Разлуку».

Трогательно её письмо Белому, также оставленное среди прочего Ходасевичу при отъезде в Россию:

*Дорогой Борис Николаевич, честное слово, мне давно надоело сердиться. Отчего Вы такой недобрый? Раньше Вы сами говорили, что я хорошая, а как только я немножко раскапризничалась, сразу рассердились, как будто я взрослая, — на самом деле, право, я только глупый ребёнок, искренне к Вам привязанный. Случаю я о Вас очень и не меньше о всех вещах в вашей комнате, я так привыкла за время Вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у Вас, как дома. Мне было невыносимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к Вам, за это не надо на меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без Вас грустно, как раз год с тех пор, как мы познакомились, и я всё помню по дням и часам... Милый, хороший, Борис Николаевич, простите, что я пишу Вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею, как Ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раньше хотела просто к Вам забежать, но побоялась.*

*Вера.*

*P.S. Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю — чайнику от меня привет.\**

\* Н. Берберова. Курсив мой.

Вера Лурье, единственная, пережила, *весь* «русский Берлин» не только 20-х, но и 30-х годов, пережила она каким-то образом и последующие десятилетия, включая войну, и умерла, прожив в Берлине 77 лет, в 1998 году в возрасте 97 лет.

---

Итак, Вера Лурье провожала Белого на вокзале ZOO: «Моё последнее воспоминание о нём: вокзал ZOO, Белый покидает Берлин. Многие друзья и знакомые Андрея Белого, в том числе я, провожают его. Поезд отъезжает, небольшая фигура Белого постепенно исчезает из вида. Для меня исчезает навсегда».

Из воспоминаний Нины Берберовой: «Ходасевич и я были дома, всё в том же пансионе Крампе, когда под вечер, прямо с вокзала ЦОО, пришла к нам Вера Лурье, его друг, провожавшая его. В последнюю минуту он вдруг выскочил из поезда, бормоча «не сейчас, не сейчас, не сейчас!» Это напомнило мне сцену в «Бесах», когда Верховенский приходит к Кириллову, и тот в тёмном углу повторяет: «Не сейчас, не сейчас, не сейчас». Кондуктор втянул Белого в вагон уже на ходу. Он старался ещё что-то крикнуть, но ничего уже не слышно было».

## 8

## Оставшись с портретом Штейнера...

*Внимайте, внимайте...  
Довольно страданий!  
Броню надевайте  
из солнечной ткани!  
Зовёт за собою  
старик афганец,  
взывает  
трубой.*

По возвращении в Россию Андрей Белый — в чёрной крылатке и широкополой чёрной шляпе, напоминающий рыцаря Тогенбурга, — окажется в ней странным явлением, не менее странным, чем в эмиграции. «Я вернулся в свою «могилу» в 1923 году, в октябре: в «могилу», в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все «истинно живые» писатели... Я был «живой труп»,\* — писал он. Троцкому, между всем прочим, как уже говорилось, не понравился ещё и псевдоним «Белый», он счел его враждебным для большевизма. В 1923 году Троцкий написал о Белом: «...Самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым».\*\*

Однако — беспримерный факт истории литературы — никакие обстоятельства (травля, критика, плохие условия жизни) не мешали Белому писать — прозу, поэзию и литературную критику (причем, замечательную). Душа его, казалось, располагала неиссякаемым источником творчества. В России Белый женился на Клавдии Николаевне

\* Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М, 1994.

\*\* Л. Троцкий. Литература и революция. М., 1991.

Васильевой, которая вернулась из Берлина в Москву за два месяца до него.

Берберова назвала её «тонкогубой монашкой в шерстяном платке». Васильева и в самом деле напоминала монашку в своем неизменном черном длинном платье и с черным же платком на плечах. «Антропософская Богородица» — так называл её Белый в Берлине. Однако в Москве он уже без сарказма сообщал в одном из писем о Васильевой: «Она — первая меня поняла в моей антропософии...» Интересен тот факт, что Белый здесь говорит о *своей* антропософии, то есть, как будто бы претендует на автономию.

Васильева — Клавдия Николаевна Бугаева — исполняла роль литературного секретаря Белого, посвящена была во все его творческие замыслы, единомышленник Белого, о чём свидетельствуют её мемуары\*. Она с глубоким пониманием духовной сути Белого рассказывает многочисленные необыкновенные истории, происходившие с ним. Так, однажды поздним вечером (это было 12 августа 1926 года) Белый призвал Клавдию Николаевну к себе, показав на окно. «Вон там Марс, — произнес он, — посмотри, какой он страшный». И в самом деле, на чёрном небе, совсем низко над крышей сарайчика, точно кровавый глаз, красным тусклым светом горела звезда, не предвещающая ничего хорошего. Между тем, согласно учению Рудольфа Штейнера (лекция «Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца»), «когда современный духовный ученик медитирует в указанном Христианом Розенкрейцером смысле, то в него вливаются силы, посылаемые Искупителем Марса, Буддой». Очевидно было, что Марс проявлял враждебность. Оба с тревогой смотрели на жуткую звезду, не говоря ни слова. А на следующий день, именно 13-го числа, Белый попал в Москве под трамвай. От неизбежной смерти спасло чудо: когда он увидел нечто огромное, бешено несущееся на него, ещё и сильно толкнувшее его в плечо, он закрыл глаза и поймал в себе глубочайший (тот самый, необходимый) бессознательный жест. И — подпрыгнул с целью «отброситься» в сторону. Очнул-

\* К. Н. Бугаева. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981.

ся он на мостовой, в нескольких шагах от рельс. Клавдия Николаевна прекрасно понимала, что именно с ним произошло — всё дело было в этом самом единственно верном *жесте*, который только посвященный мог *во время уловить*.

После смерти Белого Клавдия Николаевна проделала огромную работу по систематизации архива Белого, созданию библиографии его творчества, вела контакты с исследователями творчества Белого, в том числе с профессором Гарвардского университета Дж. Мальмстадом.

Клавдия Николаевна была арестована 30 мая 1931 года как видный деятель антропософского движения и отправлена на Лубянку. Арест пришёлся на вторую волну преследований антропософов (первая волна была в 1923 году). Освобождена была, благодаря стараниям Белого. Последние 17 лет была парализована, жила на пенсию, назначенную Союзом писателей. Умерла в 1970 году.

---

По приезду в Россию квартиры в Москве не нашлось — поселились в подмосковном поселке Кучино, где в деревянном доме снимали помещение, отгороженное от хозяев перегородкой (такая перегородочка, только тряпчатая, повторится — повторение кошмара — у Цветаевой в Елабуге), не доходившей до потолка: там прожили шесть лет. Над кроватью красовался портрет Штейнера, свидетельство прежнего почитания Доктора. Надо сказать, что диапазон оценки Штейнера Белым велик: от дьявола — до носителя идеи Христа. Стало быть, берлинское раздражение против Штейнера, продолжительностью в два года, можно считать временным явлением. «30 марта 1923 года я поклонился человеку, давшему мне столько, и, зная, что еду в Россию и его не увижу — долго; 30 марта 1925 года его не стало; мое «долго» стало дольше, чем я думал. Смерть здесь — победа — там. Но не «Обществу» гордиться победою; ему лучше следует вникнуть в причину смерти; ведь эта смерть совпадает с жертвенным вступлением Рудольфа Штейнера... в недра общества: Рудольф Штейнер вступал в «Общество», как в свой физический гроб» («Почему я стал символистом...»).

Посёлок Кучино, расположенный в двадцати одном километре от Москвы, теперь уже не посёлок, а город Железнодорожный. Помещение дачного характера, где Белый проживал часть своей недолгой жизни, отошло в наши дни к краеведческому музею с явной тенденцией восстановить всё беловское. На доме ещё в 1994 году была установлена мемориальная доска. Эта запоздавшая попытка увековечить память Белого живо напоминает нынешнее почитание Цветаевой жителями Елабуги, где она в 1941 году заброшенная, одинокая, нищая покончила с собой, и где некому было похоронить её по-человечески, так что по сей день неизвестно, где её могила, ибо Гамельн её «Крысолова» («В Гамельне собственных мыслей нет, только одни чужие») время от времени повторяется. 31 августа 2002 года в Елабуге открыт архитектурный ансамбль Цветаевой, появилась площадь с бронзовым бюстом Цветаевой — проявление нежных чувств нынешних елабужан. А второго сентября 1941 года ее хоронили в казенном гробу, провожала маленькая кучка случайных прохожих, затерялась (как будто) могила.

За два года до смерти Белый (с женой) поселился в Москве, совсем уже уподобившись булгаковскому Мастеру — в подвальном помещении (на Плющихе в доме 53 кв. 1). Окна комнаты находились под потолком — и из них видны были только ноги проходящих, а по потолку бродили их тревожные тени.

---

Итак, оставшись рыцарем антропософии, он мог делиться своими мыслями («метафизическая связь трансцендентальных предпосылок») с Клавдией Николаевной и с некоторыми антропософами, ушедшими в подполье до окончательного разгрома в 1931 году. И разве что с поэтом Максимилианом Волошиным, тоже пережившим период увлечения антропософией со своей первой женой Маргаритой Сабашниковой, оставшейся верной учению Доктора, подобно Асе Тургеневой. Волошин вначале вместе с Белым строил Гетеанум.

Но ещё задолго до Гетеанума, в 1903 году Максимилиан Волошин создал свой собственный духовный центр. По своим чертежам поэт построил у «вздвигающего тяжко гребни» древнего Черного моря, свой собственный дом с башней для астрономических исследований и назвал его «Домом поэта». Стихотворение Мандельштама «Бессонница», свидетельствующее ещё и о том, что море находилось очень близко, «у изголовья», написано поэтом ночью в доме Волошина в 1915 году (И море черное, витийствуя, шумит. И с тяжким грохотом подходит к изголовью).

---

Волошин жил в Коктебеле восемь месяцев в году, уверовав в то, что его присутствие предназначено и необходимо именно здесь, в Киммерии, как он называл эти места, где повсюду в стёртых камнях и размытых дождями холмах бродят тени аргонавтов Одиссея, Орфея и Гермеса, и «в голых прутьях, в траве вчерашней» слышны «вопли Деметры»:

И лики тёмные отвергнутых богов  
Глядят и требуют, зовут... неотвратимо.

«Дом поэта» превратился в место настоящего паломничества литературно-художественной интеллигенции: иной раз до сотни человек съезжалось. Цветаева, Гумилев, Мандельштам, Ходасевич, Брюсов, Горький, Толстой, Чуковский, Эренбург — одним словом, весь «серебряный век» наезжал. А кроме того, приезжали теософы, антропософы, философы, интеллектуалы и любители всякой таинственности.

«Этот был скрытый мистик, то есть истый мистик, — писала Цветаева о Волошине в эссе «Живое о живом», — тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик — мало скрытый — зарытый. (...) Из этого заключаю, что он был посвящённый. Эта сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь на коктебельской горе, где он лежит, ещё окажется — неизвестно кем положенная мантия розенкрейцера». Анна Минцлова утверждала, что стихотворение

Волошина, посвященное Вячеславу Иванову, «Гностический гимн деве Марии», — не что иное, как молитва средневековых розенкрейцеров:

Славься, Мария!  
Хвалите, хвалите  
Крестные тайны  
Во тьме естества!  
Mula-Prastii —  
Покров Божества.

Дрённая грёза  
Отца Парабрамы,  
Сонная Майа\*,  
Праматерь-материя!  
Грёза из грёзы...  
Вскрываются храмы.  
Жертвы и смерти  
Живая мистерия (...)

В эссе «Живое о живом», посвящённом памяти Волошина, Цветаева описала этот необычный уголок Крыма, считавшийся современниками магическим, инициированным даже: «Сама природа создала из камня в коктебельском уголке Крыма собственное изваяние хозяина «Дома поэта». Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный Коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, — каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль... Голова спящего великана или божества». Волошин подтвердил факт невероятного собственного сходства с каменным изваянием:

И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

После революции Волошин остался в Коктебеле, жил бедно, позже отдал свои пенаты под бесплатный дом отдыха для писателей и тем самым сохранил свой дом. Поэт

\* Майя — мать Гермеса.

умер в Коктебеле в 1932 году, и, согласно завещанию, был похоронен на вершине горы, ограничивающей коктебельский залив слева — напротив каменного изваяния, напоминающего его профиль, тем самым как бы завершив, замкнув Коктебель самим собой.

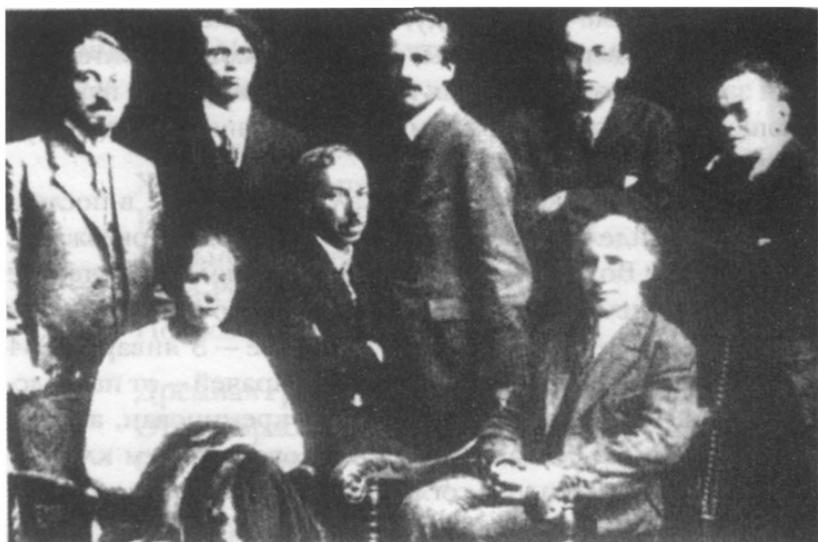
Белый несколько раз приезжал в Коктебель, в последний раз он виделся с Волошиным в 1930 году, приезжал и после смерти Волошина — в 1933 году. 15 июля в Коктебеле с Белым случился обморок — он смертельно перегрелся на солнце. Умер не сразу — зимой в Москве — 8 января 1934 года в возрасте 54 лет; по заключению врачей — от последствий солнечного удара, 10-го января кремирован, а 16-го урна с прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище. Белый стал Пеплом, согласно его антропософии, «чтобы восстать из мертвых для деятельного пути».

---

Смерть Белого сопровождал красивый миф о поэте-пророке, напророчившем свою смерть от солнечных стрел. Белый, якобы, перед смертью просил, чтобы ему прочли его стихи, написанные ещё в 1908 году, которые счел подходящими для такого случая:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.

Это горестное последнее признание (если бы это было правдой) «а жизнь прожить не сумел» напомнило мне тютчевские предсмертные слова — не о стихах — а о своих знаменитых островах: «Итак, на это ушла вся жизнь». Можно было бы возразить Белому (впрочем, так же, как и Тютчеву), поскольку наследие этого «русского Джойса», как его многие теперь называют, огромно, и требует ещё своего изучения и систематизации. Вот далеко не полный «послужной список» литературного наследия Белого: поэтические книги — «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Звезда», «После Разлуки»; книги прозы — «Петербург», «Серебряный голубь», «Котик



Слева направо стоят: Б. Зайцев, В. Ходасевич, М. Осоргин, А. Бахрах, А. Ремизов.  
Сидят: Н. Берберова, П. Муратов, Андрей Белый.



Москва, Новодевичье кладбище. Надгробный памятник на могиле Андрея Белого.

Летаев», «Москва»; мемуарная трилогия — «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»; литературные исследования — «Символизм», «Луг зеленый», «Арабески», «Мастерство Гоголя».

Однако Спивак, о которой я неоднократно упоминала, свидетельствует, что не нашла документа, подтверждающего такой эффектный пророческий финал. Белый умер (солнце безусловно спровоцировало) от кровоизлияния в мозг — следствие постоянных стрессов: ужасные квартирные условия, арест антропософов в 1931 году (где Белый на следствии вдруг оказался главарем тайного общества антропософов). Окончательно его сломило разгромное предисловие Каменева ко второму тому «Начала века», о котором обессиленный писатель (свернувшись на кровати) сказал: «А все-таки ушиб меня Каменев».

В некрологе, появившемся в «Известиях» 9 января 1934, подписанного Б. Пильняком, Б. Пастернаком и Г. Санниковым, прозвучали удивительные для того времени смелые строки: «Надо помнить, что Джеймс Джойс — ученик Андрея Белого... Мы, авторы этих посмертных строк считаем себя его учениками».

Осип Мандельштам, предчувствуя приближение собственного конца, как бы подготавливаясь к нему, откликнулся на смерть Белого циклом из семи стихотворений, которые тогда невозможно было опубликовать. Вот одно из них:

Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?  
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.  
Тот самый, что тогда невянтицу устроил,  
Который шустрился, довольно уж легок,  
О чём-то позабыл, чего-то не усвоил,  
Затеял кавардак, перекрутил снежок...

И ещё Цветаева в Париже увидела в «Последних новостях» в день кремации 10 января 1934 года две фотографии Белого, которые её потрясли. И вот что она сообщила нам в «Пленном духе»:

«Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полёта — идёт

человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнёшь — рассыпется. Не Чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц — считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил?

Случайная фотография! Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: *переход*. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешёл Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок — астральный снимок.

Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза — человеческие? Вы у человека видели такие глаза? Не ссылайтесь на неясность опечатка, плохость газетной бумаги и т. д. Всё это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту — послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа, с просквожёнными тем светом глазами. На нас — сквозит».

*Мина Полянская*

Foxtrot  
белого рыцаря

Андрей Белый в Берлине

Корректор *Т. Хлыновская*  
Верстка *Д. Южный*  
Оформление *Е. Пинегина*

Подписано в печать 25.03.2009. Гарнитура «Баскервиль»  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Объем 6 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 2000 экз. Заказ № 14687.

Издательство «Деметра»  
190068, Санкт-Петербург,  
наб.реки Фонтанки, д. 121, оф. 20  
[www.demetra.spb.ru](http://www.demetra.spb.ru)  
[info@demetra.spb.ru](mailto:info@demetra.spb.ru)

Отпечатано по технологии CtP  
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького  
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Мина Полянская — выпускница филологического факультета ленинградского пединститута им. Герцена середины 60-х, когда там преподавали такие литературные «гиганты», как легендарные В. Маранцман, Е. Эткинд и Н. Берковский, которых она считает своими учителями. Книга написана под влиянием романтических идеалов Берковского, любившего повторять слова Новалиса: «Мы живем внутри некоего колоссального романа, и это относится как к крупному, так и к мелочам».

Полянская — автор литературоведческих новелл «Классическое вино», книг «Музы города» (о Берлине), «Брак мой тайный. Марина Цветаева в Берлине» (2001), «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922» (2009), «Я — писатель незаконный. Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна» (2003), «Плацкарты и контрамарки. Записки о Фридрихе Горенштейне» (2007), а также «готического» романа «Синдром Килиманджаро» (2008). С 1991 года живет в Берлине, член немецкого Пушкинского общества и международного ПЕН клуба.

